

МИХАИЛ ШВАРЦ

Когда летишь
с моста,
понимаешь,
что все твои
проблемы
решаемы,
кроме одной —
ты уже летишь
с моста.

ДВЕНАДЦАТЬ ЛЕТ СКАЗКИ

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Михаил Шварц
Двенадцать лет сказки

«Автор»

2026

Шварц М.

Двенадцать лет сказки / М. Шварц — «Автор», 2026

Когда жизнь раз за разом бьёт в самое сердце, человеку остаётся только одно — либо сломаться, либо научиться дышать сквозь боль. Эта книга — о любви, которая не спасает, о памяти, которая не отпускает, о предательстве, после которого всё ещё приходится жить дальше. О внутренней тьме, где почти не остаётся света, и о той упрямой силе, что поднимает даже тех, кто однажды уже будто умер внутри. Мрачный и предельно честный роман о том, как судьба отнимает почти всё — и всё же не добивает до конца.

© Шварц М., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. После взрыва	5
Глава 2. Отталкивающая симпатия	17
Глава 3. Дом без тепла	28
Глава 4. Пепел под ёлкой	38
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Михаил Шварц

Двенадцать лет сказки

Эта история имеет под собой реальную основу.

Она родилась из подлинных событий и переживаний, слишком тяжёлых для простой памяти и слишком важных для молчания.

Но перед читателем не исповедь и не хроника, а роман, в котором жизненный материал прошёл через художественное переосмысление: композицию, авторскую правку, смещение акцентов, углубление характеров и сцен. Именно поэтому здесь может быть изменено частное, но сохранено главное — эмоциональная и человеческая правда.

Эта правда мрачна. Она знает цену утрате, знает, как близко любовь может стоять к боли, как легко надежда оборачивается страхом, и как долго человек способен жить с тем, что однажды уже должно было его уничтожить.

И всё же даже в самой тёмной истории остаётся то, что не даёт ей стать только рассказом о гибели: слабый, почти неразличимый свет, ради которого продолжают жить даже те, кто однажды уже внутренне умер.

Глава 1. После взрыва

Ноябрьский день был серым и тяжёлым. Небо с самого утра висело низко, будто кто-то опустил над городом грязную, влажную ткань и оставил её там до вечера. Свет пробивался через эту мглу тускло, без силы, и только сильнее подчёркивал всё холодное и неприветливое: мокрые двory, жухлую траву у дорожек, голые ветки, которые время от времени шевелил сырой ветер. Эти ветки сухо поскрипывали, и в этом скрипе было что-то неприятно живое, будто за стеной кто-то шепчется и сразу замолкает, стоит прислушаться. В воздухе стоял тяжёлый запах сырости, штукатурки, старого железа и газа — тот самый запах, который в обычный день почти не замечают, а потом вспоминают слишком поздно.

Дом стоял обычный, ничем не выделяющийся. Не старый развалюхой, не новый, не красивый, не страшный. Просто дом. Такие дома не кажутся опасными. Они выглядят уставшими, но надёжными, будто знают своё дело: держать стены, хранить тепло, переживать зиму за зимой и не ждать от жизни ничего хорошего. Именно поэтому беда в них всегда приходит особенно страшно. Не как в фильме, где всё заранее предупреждает о катастрофе. В настоящей жизни катастрофа любит тишину. Она приходит туда, где ничего не предвещало.

Ксения в то утро не думала ни о смерти, ни о том, что некоторые дни потом не заканчиваются никогда. Утро было обычным. Холодным. Сырым. Неприятным. Из тех, которые проживаются по инерции. Потом, много лет спустя, она будет возвращаться к нему снова и снова, пытаясь вспомнить, был ли какой-нибудь знак, лишний звук, странная пауза, запах, который можно было бы заметить заранее. Но ничего такого она не найдёт. Потому что иногда жизнь не предупреждает. Она просто бьёт.

Сначала был толчок.

Не звук. Не крик. Не грохот.

Именно толчок — резкий, внутренний, такой, будто дом на секунду поднялся, вдохнул и взбесился.

Потом вспышка.

Белая, безжалостная, не похожая ни на огонь печки, ни на пламя конфорки. Она не грела — она выбивала воздух из лёгких, стирала очертания, делала всё сразу слишком близким и совершенно невозможным. Следом пришёл удар, от которого стены рванулись в стороны, стёкла полетели внутрь, а натяжной потолок на кухне сначала вздулся огромным пузырьком, будто живой, а потом лопнул и рухнул вниз, как обгоревшая кожа.

Газовый баллон разорвал кухню на куски.

Весь мир в эту секунду перестал быть миром. Он стал жаром, пылью, мусором, летающими осколками, чьими-то криками и оглушительной пустотой внутри головы. Ксению отбросило так резко, что сам момент полёта она потом не могла вспомнить — только удар, звон в ушах и странное ощущение, будто её на миг выдернули из собственного тела, а потом швырнули обратно уже в другую реальность. Она лежала среди обломков, пытаясь понять, почему не слышит ничего, кроме густого ватного гула. По лицу текло что-то тёплое. Она подняла руку, увидела кровь, но не почувствовала ни страха, ни боли. Боль приходит потом. Страх тоже. Сначала всегда приходит неверие.

Перед глазами висела серо-белая взвесь. В ней медленно оседали клочья потолка, куски штукатурки, чёрные лоскуты чего-то горелого. Запах был такой, что хотелось вывернуть лёгкие наружу: газ, гарь, горячий пластик, мокрая зола, раскалённое железо и что-то сладковатое, мясное, от чего кожа на затылке холодела сильнее любого мороза. Ксения приподнялась на локте, закашлялась, сплюнула серую слюну и позвала, не узнавая собственного голоса:

— Мама?..

Получился не голос, а сорванный шёпот.

Где-то там, где ещё секунду назад была стена, кто-то кричал. Мужской голос орал матом так, будто хотел перекричать саму беду. Женщина визжала тонко, без слов, одним животным ужасом. Где-то захлебнулся лаем пёс.

Ксения попыталась встать и сразу поскользнулась на стекле. Ладонь врезалась во что-то острое, но она почти этого не заметила.

— Мама! — крикнула она уже громче, сипло, страшно, с тем рваным надрывом, от которого даже собственное горло кажется чужим.

Ответа не было.

И это молчание с первой секунды стало хуже любого крика.

Она двинулась вперёд почти ползком, упираясь ладонями в мусор и обломки, не замечая, как режет кожу. Всё вокруг стало чужим. То, что утром было стеной, теперь лежало на полу. То, что было потолком, висело рваными кусками. Мебель стояла не там, где должна. Вещи, у которых ещё час назад были места и названия, превратились в бесформенный мусор. Так, наверное, и выглядит конец привычной жизни — не красиво, не трагически, а унизительно беспорядочно.

С улицы уже неслись чужие голоса.

— Воды сюда!

— Скорую вызывай!

— Господи, там люди!

Потом внутрь пролез мужчина — серый от пыли, пахнувший улицей и дешёвым табаком. Он схватил Ксению под плечи крепко, почти грубо, будто имел дело не с живым человеком, а с телом, которое надо срочно вытащить из-под завала.

— Девочка, ты живая? — быстро заговорил он, тряхнув её за плечо и пытаясь поймать её взгляд. — Слышишь меня? На меня смотри.

Ксения дёрнулась так резко, что он на секунду ослабил хватку.

— Мама где?! — выкрикнула она, вцепившись ему в рукав.

Он замотал головой и снова попытался её удержать.

— Не лезь туда, слышишь? — крикнул он уже с отчаянием, потому что сам понимал, что сил у него на неё почти нет. — Не лезь, там ещё рвануть может!

— МАМА! — заорала Ксения уже не ему, а в раскуроченный воздух дома.

Позже, много позже, она будет пытаться вспомнить лицо этого мужчины и не сможет. Память оставит только большие пыльные ладони, ободранные костяшки пальцев и запах табака от мокрой куртки. В дни, когда жизнь ломается, память почему-то удерживает не главное, а мелочи. Как будто ей нужны доказательства, что всё происходило на самом деле.

Дальше время распалось на куски.

Сирена.

Люди в форме.

Носилки.

Чей-то слишком спокойный голос, от которого хотелось ударить:

— Осторожно... ожоги... быстрее...

Мать увезли.

Отца тоже.

Дом остался стоять, но уже не как дом — как расколотая коробка, из которой вырвало сердце.

Потом были больницы. Белые стены. Коридоры с запахом хлорки, лекарств, мокрой тряпки и чужой безысходности. Медсёстры, которые двигались быстро, точно и устало, с тем выражением лиц, какое бывает у людей, слишком давно живущих рядом с болью. Врачи, говорившие коротко и тихо. И несколько дней, за которые Ксения прожила отдельную маленькую жизнь — от надежды до пустоты.

К матери она сначала не могла подойти близко. Не из страха — из ужаса, что это действительно она. Лицо было не лицом, а страданием, над которым ещё оставались знакомые черты. Губы пересохшие. Веки опухшие. Руки перебинтованы так, что казались чужими. Но это была она, и от этого не становилось легче. Ксения садилась рядом, осторожно брала край простыни, будто этим слабым касанием ещё можно удержать мать по эту сторону, и говорила всё подряд, лишь бы не молчать.

— Мам, это я, — шептала она, наклоняясь ближе и стараясь не смотреть слишком долго на бинты. — Я здесь. Слышишь? Я рядом.

Иногда ей казалось, что мать слышит. Не глазами, не голосом — чем-то другим, слабым, уходящим, но ещё живым.

— Ты только держись, — говорила Ксения, чувствуя, как дрожат губы. — Ты же упрямая. Ты же сама всегда говорила — не дождутся.

Однажды ей почудилось, что пальцы под бинтами чуть дрогнули. Она вскочила так резко, что ножки стула скрипнули по полу.

— Мам?..

В палату тут же заглянула медсестра — сухая женщина с усталым лицом и очень светлыми глазами.

— Что случилось? — спросила она, быстро окинув взглядом кровать, бинты и аппараты.

Ксения обернулась к ней, чувствуя, как надежда уже успела вонзиться в грудь и тут же стать страшной.

— Мне показалось... она будто...

Медсестра подошла ближе, поправила одеяло и очень спокойно сказала:

— Вам сейчас много чего будет казаться. Сядьте.

От этих слов стало холоднее, чем от кафеля под ногами.

Врачи говорили одинаковыми фразами.

Состояние тяжёлое.

Динамика нестабильная.

Делаем всё возможное.

Эту фразу Ксения возненавидела особенно быстро. «Делаем всё возможное» звучало как вежливая ширма для бессилия, завёрнутая в профессиональную аккуратность. Ей хотелось однажды схватить кого-нибудь за рукав халата и спросить: возможное — это сколько? До какого именно предела живого человека ещё считают живым?

Отец в это время лежал в ожоговом в Ростове. Оттуда он звонил редко — не потому, что не хотел, а потому, что каждый разговор отнимал силы. Когда она впервые услышала его голос после взрыва, ей стало страшно так, как не было страшно даже среди обломков дома. Владимир всегда говорил твёрдо, громко, с тем мужским раздражением, в котором было больше жизни, чем злости. Теперь голос шёл будто из пустой железной бочки.

— Ксюш... — выдохнул он в трубку, и уже по одному этому хриплому, чужому звуку у неё сжалось горло.

— Пап...

Дальше они молчали. И это молчание было хуже слёз.

— Как мама? — спросил он наконец, тяжело переводя дыхание.

Ксения закрыла глаза.

— Тяжело, — ответила она после паузы, слишком хорошо понимая, что слово это уже ничего не значит.

На том конце слышалось неровное, болезненное дыхание.

— Я не могу приехать, — сказал он глухо, и в этих словах было не объяснение, а ненависть к самому себе.

— Я знаю.

— Ты понимаешь?

— Да.

Но на самом деле она не понимала ничего. Ни почему несколько секунд огня могут разорвать семью так, будто её никогда и не было. Ни почему человека нельзя отпустить проститься с женой, если он сам наполовину сгорел. Ни почему жизнь вокруг продолжает двигаться — автобусы, магазины, очереди, чужие разговоры, — когда твоя собственная уже стоит у дверей морга и смотрит на закрытый гроб.

Мать хоронили в деревне, где она родилась — в Конезаводе имени Кирова, далеко от города. Дорога туда была длинной, серой, промёрзшей. Поля тянулись по обе стороны пустые, выжатые поздней осенью, посадки стояли чёрными пятнами на фоне низкого неба. Машину покачивало на выбоинах. Люди в салоне говорили мало. Кто-то время от времени вздыхал. Кто-то шуршал пакетом. Водитель включал печку сильнее, и воздух становился душным, пахнущим резиной и мокрой одеждой.

Ксения всю дорогу смотрела в окно и думала, что никогда ещё мир не казался ей таким равнодушным. Вороны сидели на столбах. Где-то дымился костёр. Женщина в платке шла вдоль дороги с авоськой. Всё было как всегда, и от этого хотелось закричать.

На похоронах земля была тяжёлая, напитанная холодом и влагой. Гроб опускали медленно, осторожно, словно даже теперь люди боялись причинить матери боль. Кто-то плакал открыто, по-деревенски, не стесняясь голоса. Кто-то стоял каменно. Кто-то шептал молитвы. А Ксения будто окаменела изнутри. Она смотрела, как верёвки скользят по лакированной крышке, и не чувствовала ничего, кроме тупой невозможности происходящего.

— Прощайся, доченька, — тихо сказала какая-то женщина, вероятно дальняя родня, тронув её за локоть.

Ксения перевела на неё взгляд, но смысл слов дошёл не сразу.

Прощаться — это как?

Сказать «пока»?

Попросить не уходить?

Пообещать, что справится?

Она так и не вспомнила потом, ответила ли что-нибудь.

Отца на похороны не отпустили. Ему позволили проститься с матерью только у дверей морга, с закрытым гробом. Об этом Ксения узнала уже потом, и именно эта подробность врезалась в неё глубже всего. Не сама смерть даже, а это: мужчина, лежащий в ожоговом, стоит, держась за дверь или за чьё-то плечо, а перед ним закрытый гроб его жены. Без последнего взгляда. Без права коснуться. Без возможности убедиться, что это не ошибка, не кошмар, не жестокий сон.

Позже отец скажет по телефону:

— Я даже лица её не видел, — и замолчит так надолго, будто дальше уже не язык отказывает, а сама жизнь.

В этих словах было такое бессилие, что Ксения поймёт: некоторые раны никогда не затягиваются. Они просто со временем перестают кровоточить наружу.

После похорон она вернулась в город, потому что оставаться в деревне было нельзя. Дом требовал её присутствия. Не как место памяти — как развалина, которую нужно было поднимать, если она не хотела окончательно остаться на улице.

И вот тогда до неё дошло, что жить ей негде.

Это осознание пришло не сразу, а по частям, особенно унижительно. Пока ты занят моргом, больницей, похоронами, звонками и бумагами, мозг ещё не успевает ухватить всё. А потом наступает вечер, и ты вдруг понимаешь: дома нет, матери нет, отец в ожоговом, а ночь наступит всё равно.

Её приютила Марина — девочка, с которой они работали. Марина была из деревни. Сама жила почти никак: снимала раскладное кресло у подруги в жакте, в старом доме с длинным общим коридором, облезлой краской на стенах и кухней, где по вечерам пахло сразу всеми чужими ужинами. На этом кресле они вдвоём и ютились.

В первый вечер, когда Марина привела её туда, Ксения стояла в тесной комнате с пакетом вещей в руках и не могла понять, как две взрослые женщины вообще смогут здесь спать.

— Да поместимся, — сказала Марина, угадав её мысль и сбрасывая куртку на стул. — Не в первый раз жизнь людей складывает как попало.

Ксения усмехнулась бы, если бы ещё умела.

Комната была маленькая, с низким потолком, жёлтой лампочкой и старым шкафом, который чуть покосился к стене. На подоконнике стояла банка с засохшим алоэ. От батареи шёл жар, но по полу всё равно тянуло холодом. За стеной кто-то кашлял. В коридоре хлопали двери. На общей кухне что-то булькало в кастрюле, и этот обычный бытовой звук почему-то резал почти физически.

— Проходи, — сказала Марина, ставя чайник. — Сейчас хоть чаю попьём.

— Я тебе мешаю, — выдохнула Ксения, всё ещё стоя у двери и крепче сжимая ручки пакета.

Марина обернулась так резко, будто услышала оскорбление.

— Не говори глупостей.

— Я серьёзно.

Марина подошла ближе, посмотрела ей прямо в лицо и сказала уже тише, но жёстче:

— Ксюш, ты после такого ещё пытаешься быть удобной?

Эта фраза почему-то почти довела Ксению до слёз.

Ночью они действительно легли на одно раскладное кресло. Узкое, скрипучее, с вылезшими пружинами. Марина легла к стене, Ксения — с краю.

— Не упади только, — пробормотала Марина, устраиваясь.

— Постараюсь.

— А если упадёшь, я тебя обратно затяну.

Ксения молчала.

Через минуту Марина шевельнулась и спросила в темноте:

— Ты спишь?

— Нет.

— Я тоже.

За окном ветер бил чем-то по подоконнику — может, веткой, может, старой проволокой. Равномерно, навязчиво, как стук в дверь.

— Всё наладится, — шепнула Марина.

Ксения долго смотрела в потолок.

— Нет.

Марина повернулась к ней так, что кресло жалобно скрипнуло.

— Почему ты так говоришь?

Ксения ответила не сразу. Внутри было холодно, пусто и слишком ясно.

— Потому что некоторые вещи не налаживаются. Их просто потом таскаешь на себе.

После этих слов обе замолчали.

Сон к Ксении не шёл. Как только она закрывала глаза, ей виделась вспышка. Иногда — кухня в тот самый миг. Иногда — лицо матери в бинтах. Иногда — закрытый гроб у дверей морга, хотя сама она той сцены не видела. Но воображение строило её так ясно, будто она там стояла.

А потом началось ещё кое-что.

Сначала она решила, что это от усталости.

На вторую или третью ночь, когда Марина уже уснула, Ксения услышала очень знакомый звук — как будто в другой комнате тихо звякнула чашка о блюде. Один раз. Совсем легко. Домашне. Узнаваемо до боли.

Она открыла глаза.

Комната была тёмной. Только из коридора пробивалась полоска мутного света.

Снова тишина.

Ксения села.

Звук повторился.

Тонкий, домашний, невозможный здесь.

У матери была привычка ставить чашку на блюде именно так — с лёгким касанием, небрежным, но всегда узнаваемым. Этот звук невозможно было спутать ни с чем.

Ксения медленно спустила ноги с кресла.

— Ксюш?.. — сонно пробормотала Марина, не открывая глаз.

— Ничего... спи.

Она вышла в коридор. Там пахло капустой, сыростью и кошками. На общей кухне горела одна лампа. Никого не было. На столе стояли чужие кастрюли, кружки, недоеденный хлеб.

Никакой чашки. Никакой матери. Ничего.

И всё же кожа на руках покрылась мурашками так, будто кто-то только что стоял рядом и отошёл, пока она моргнула.

Утром она никому об этом не сказала.

Днём начиналась другая попытка — инстанции.

Дом восстановили только внешне. Окна вставили, двери поставили, крышу вернули, стены сшили, но внутри всё оставалось мёртвым и холодным. Газ перекрыли спецслужбы. Провода оборвало взрывной волной. Чтобы вернуть коммуникации, ей пришлось почти две недели носиться по кабинетам.

Ксения очень быстро поняла, что государственная машина особенно бездушна к тем, кому и без того плохо.

Очереди тянулись вдоль стен как наказание. Люди сидели в пальто, с папками и пакетами документов, и у каждого на лице было одно и то же: усталость, перемешанная со злостью. В коридорах стоял спёртый воздух, батареи жарили так, что хотелось снять куртку, но стоило выйти на улицу — холод впивался в кости мгновенно.

— Следующий!

— Я только спросить...

— Все только спросить.

— У вас не хватает акта.

— Какого акта?

— Вот этого.

— Но мне про него никто не говорил.

— Теперь говорю.

— И что мне делать?

— Следующий.

Иногда ей казалось, что если она сейчас просто сядет на пол и начнёт смеяться, никто даже не удивится. Взрыв, смерть матери, отец в ожоговом, отсутствие жилья — всё это никого не интересовало. Для системы она была не человеком, а недоукомплектованным пакетом документов.

Вечерами она возвращалась к Марине выжатая, грязная, с замёрзшими пальцами и ощущением, что мир специально проверяет, на каком именно шаге она окончательно сломается.

Однажды Марина поставила перед ней тарелку с жареной картошкой и сказала:

— Ешь.

— Не хочу.

— Тогда жуй через не хочу.

— Не лезь.

Марина спокойно села напротив, подперев подбородок ладонью и глядя на неё так, будто заранее знала, что сейчас услышит что-нибудь злое и всё равно не уйдёт.

— Я и не лезу, — сказала она ровно. — Но если ты перестанешь есть, от этого ни мама не воскреснет, ни свет в доме сам собой не появится.

Ксения подняла на неё тяжёлый взгляд.

— Ты очень умная стала.

— Нет. — Марина пожала плечом. — Просто кто-то должен говорить тебе то, что ты сама себе уже не говоришь.

Ксения молча взяла вилку.

— Спасибо.

— Вот и ешь молча.

Именно такие мелкие перепалки и спасали. Не поддержка в высоких словах, а грубоватая бытовая человечность. Налитый чай. Плед, брошенный на ноги. Ругательство, сказанное вовремя. Возможность ночью услышать рядом чужое дыхание и не чувствовать себя совсем одной.

А вот те, кого Ксения считала друзьями, исчезли.

Сначала она ещё ждала звонков. Потом перестала. Одни написали что-то дежурное в первый день и растворились. Другие вообще сделали вид, что ничего не произошло. Некоторые, встречая её случайно на улице, начинали говорить слишком быстро и весело, будто беда заразна.

— Созвонимся.

— Ты держись.

— Чем смогу — помогу.

Никто не помог.

Позже она поймёт, что трагедия — самый честный фильтр для людей. Она не делает их хуже. Она просто снимает всё лишнее.

Из тех, кто действительно остался, был дядя Владимир. Он жил далеко, тогда работал в Ростове и оказался по сути единственным человеком из родни, кто не ограничился словами.

Звонил он часто.

— Как ты? — спрашивал он без долгих вступлений, и по его тяжёлому, сдержанному голосу было слышно, что он ждёт не формальной вежливости.

— Нормально, — отвечала Ксения по привычке.

Он вздыхал так, будто уже устал от этого слова.

— Не ври мне.

— А тебе легче станет, если я не совру?

На том конце на секунду замолкали, потом он говорил уже жёстче:

— Деньги нужны?

— Нужны.

— Скажи сколько.

Её всегда коробило от этих разговоров. Не потому, что он давал мало или много, а потому что каждый раз приходилось признавать: теперь она та, кому надо просить и принимать.

— Я переведу, — говорил дядя. — И слушай меня внимательно. Если станет совсем плохо, бросай всё и приезжай.

— Я не могу.

— Почему?

— Потому что дом.

— Да плевать на дом!

— Мне не плевать.

После этих слов наступала пауза, и в этой паузе всегда чувствовалось его бессилие перед её упрямством.

— Ксения...

— Если я сейчас его брошу, у меня вообще ничего не останется.

На том конце становилось тихо, и только потом он говорил, уже без спора:

— Ты на мать похожа.

И от этих слов становилось только больнее.

Именно в этот период вдруг объявилась Вика. Та самая Вика, которая не пустила её пожить к себе в трёхкомнатную квартиру, объяснив это маленьким ребёнком. Тогда у Ксении не было сил ни спорить, ни запоминать. Но память, конечно, запомнила.

Вечером, когда она сидела у Марины и разбирала очередные бумажки, телефон завибрировал.

На экране высветилось имя.

Вика.

Ксения смотрела на него несколько секунд, будто это была какая-то техническая ошибка.

— Кто? — спросила Марина, сразу заметив, как изменилось её лицо.

— Вика.

Марина фыркнула и откинулась на спинку стула.

— О. Объявилась.

Ксения всё-таки взяла трубку.

— Да.

Голос у Вики был лёгкий, почти звонкий, как у человека, которого жизнь сегодня не ударила ни разу.

— Привет, ты как?

Этот вопрос прозвучал так неуместно, что Ксения едва не рассмеялась.

— Живая.

— Слушай, я тут подумала... — Вика заговорила ещё быстрее, и в этой торопливой весёлости уже чувствовалась фальшь. — Тебе же надо отвлечься. Нельзя всё время вариться в этом ужасе. Давай я заеду, заберу тебя. Марину тоже. Посидим, проветримся, развеемся.

Ксения молчала.

Марина, глядя ей в лицо, беззвучно спросила: «Чего хочет?»

Ксения прикрыла трубку ладонью.

— Гулять зовёт.

Марина недобро прищурилась.

— Сильно вовремя.

Вика тем временем продолжала:

— Ну правда, Ксюш. Я понимаю, тебе сейчас тяжело. Но дома сидеть — с ума сойдёшь. «У меня маленький ребёнок».

Эта старая фраза всплыла в памяти так отчётливо, будто Вика произнесла её только что.

Ксения уже хотела отказать, но Марина неожиданно сказала:

— Сходи.

— Зачем? — переспросила Ксения, всё ещё прикрывая трубку ладонью.

Марина пожала плечами, но взгляд у неё был внимательный и серьёзный.

— Хотя бы воздухом подышишь. Ты скоро людей бояться начнёшь.

Ксения посмотрела на неё.

— Я уже.

Марина кивнула, не отводя глаз.

— Тогда тем более.

В трубке Вика весело спросила:

— Ну что? Едете?

Ксения сама не поняла, почему ответила:

— Ладно.

— Отлично! Мы скоро будем.

Когда она положила телефон, в комнате будто стало теснее.

— Ты уверена? — спросила Марина.

— Нет.

— Тогда почему согласилась?

Ксения долго не отвечала, глядя на свои пальцы, всё ещё лежащие на телефоне.

— Потому что если я и дальше буду видеть только больницы, кладбище и справки, — сказала она наконец так тихо, что почти не услышала себя сама, — я однажды перестану понимать, живая я или уже нет.

Марина молча кивнула.

Они собрались быстро. Ксения надела куртку, поправила волосы перед мутным зеркалом и вдруг поймала себя на чувстве, которое показалось почти предательством: ей было страшно выходить в обычный вечер, как будто она покидала укрытие. После больших бед даже чужая компания начинает казаться территорией риска.

Машина подъехала быстро. Старенькая, тёмная, с мутными фарами. В салоне уже сидели трое парней. Один впереди, двое сзади. Сигаретный дым висел плотным слоем, смешиваясь с запахом дешёвого одеколона, бензина и чего-то сладкого, алкогольного.

— О, девчонки! — протянул один с заднего сиденья, отодвигаясь и разглядывая их с ленивым, пьяноватым интересом. — Залетайте.

Вика сидела спереди и улыбалась так, будто это обычный беззаботный вечер.

— Ну наконец-то! — сказала она, обернувшись через плечо. — А то я думала, ты опять откажешься.

— Надо было, — тихо сказала Марина, но только Ксении, уже садясь рядом с ней.

Ксения прижала сумку к себе и только тогда посмотрела на водителя. Молодой, коротко стриженный, с красноватыми глазами и расслабленно-наглым лицом.

— Здорова, — бросил он, скользнув по ней взглядом.

— Угу, — ответила она.

Машина тронулась.

Сначала всё казалось просто неприятным. Музыка играла слишком громко. Один из парней всё время смеялся невпопад. Вика болтала быстро, перескакивая с темы на тему, и в каждом её слове Ксении чудилось напряжённое старание выглядеть нормальной, весёлой, непричастной к чужой беде.

Потом машина резко вильнула, объезжая яму, и Ксению бросило плечом в дверь. Марина тут же вцепилась ей в руку и шепнула, не поворачивая головы:

— Он пьяный.

Теперь Ксения увидела это и сама. То, как водитель держал руль — слишком вольно, слишком уверенно для нетрезвого человека, считающего себя бессмертным. То, как он ухмылялся в зеркало. То, как у него заплеталась интонация в отдельных словах.

— Ты пил? — спросила Ксения резко, подавшись вперёд.

В салоне на секунду стало тише.

Водитель осклабился и посмотрел на неё в зеркало.

— А что, страшно?

— Останови машину.

Вика тут же обернулась, округляя глаза с раздражённым весельем.

— Ой, да перестань. Всё нормально.

Ксения даже не посмотрела на неё.

— Я сказала, останови машину.

— Да не истери ты, — протянул парень справа, растягивая слова. — Доедем сейчас.

Ксения почувствовала, как внутри поднимается что-то горячее и чёрное. Не паника. Не страх. Ярость. После больниц, морга, похорон и этих бумажных коридоров мысль, что она может сдохнуть ещё и в машине с пьяным придурком, показалась ей настолько оскорбительной, что руки задрожали.

— Если ты сейчас не остановишь, — сказала она очень тихо, глядя водителю прямо в отражение, — я выскочу на ходу.

Он смотрел на неё через зеркало ещё секунду.

И именно в этот момент случилось первое по-настоящему странное.

В отражении лобового стекла Ксения увидела не четверых впереди, а пятерых.

Возле водителя, со стороны пассажирской двери, сидел ещё кто-то.

Не человек даже — скорее тёмный силуэт, как если бы кусок сумерек вдруг обрёл форму. Ни лица, ни одежды, ни деталей. Только плотное тёмное присутствие. Оно сидело спокойно, чуть повернув голову к Ксении, будто давно ждало, когда она наконец его заметит.

По спине пробежал ледяной ток.

Она моргнула.

Силуэт исчез.

Вика продолжала что-то говорить, парень рядом хохотнул, музыка долбила по ушам. Никто ничего не заметил.

— Ксюш? — шепнула Марина, сильнее сжав её пальцы. — Ты чего?

Ксения не ответила.

Ей вдруг стало очень холодно, хотя в машине было душно. И ещё одно чувство поднялось изнутри — мерзкое, липкое узнавание. Будто это тёмное не было ей совсем чужим. Будто оно

пришло не сейчас, а тянулось за ней ещё оттуда, из дома, где натяжной потолок лопнул над огнём, а стены перестали быть стенами.

Водитель хмыкнул и всё же слегка сбросил скорость.

— Да не ссы ты. Мы уже почти приехали.

— Куда? — спросила Марина, подаваясь вперёд и глядя в тёмное стекло.

— На гаражи. Там посидим.

— К кому? — спросила она уже жёстче.

— Да есть один.

Ответ прозвучал так, что стало ясно: конкретного «одного» они, возможно, и сами толком не знают.

Машина ехала по тёмным улицам, выныривая из света редких фонарей в чёрные участки, где дома стояли без лиц, только окна горели жёлтыми прямоугольниками. Люди на остановках казались тенями. Лужи блестели, как нефть. Над городом висела та же самая тяжёлая мгла, что была утром в день взрыва.

Ксения смотрела в окно и чувствовала, как сердце бьётся не ровно, а короткими ударами, будто тоже прислушивается.

И тогда ей показалось ещё кое-что.

На мгновение, в тёмном стекле двери, поверх её собственного отражения проступило лицо матери.

Не обожжённое. Не больничное.

Обычное.

Усталое, родное, тревожное.

Губы шевельнулись, беззвучно складывая одно-единственное слово:

«Домой».

Ксения дёрнулась так резко, что Марина испугалась и почти вжалась в неё плечом.

— Что? — шепнула она, всматриваясь в её лицо.

— Ничего.

Но это было не «ничего».

Она уже знала, что после того взрыва мир для неё перекосялся. Не сильно. Не так, чтобы люди вокруг заметили. Совсем чуть-чуть. На толщину тени. На ползвука. На одно лишнее отражение в стекле. И именно в такие зазоры в жизнь обычно входит что-то чужое.

Машина свернула к гаражам.

Впереди в темноте чернели железные ворота, бетонные коробки, голые лампы над проездами. Место выглядело так, будто днём здесь чинят машины, а ночью исчезают люди. Ветер гулял между рядами, выл в щелях, гонял по асфальту бумагу и сухие листья. Свет фар выхватывал то ржавый замок, то мокрую стену, то надпись мелом, давно растёкшуюся от дождей.

Ксения вдруг с абсолютной ясностью поняла: взрыв не закончился.

Он не остался в том дне.

Он просто переселился внутрь неё.

И теперь шёл рядом — в отражениях, в запахах, в стуке чашки среди ночи, в лицах людей, которые вовремя отвернулись, и в тех местах, куда нормальный человек в такую ночь ехать не должен.

Машина остановилась.

Водитель заглушил мотор.

Тишина после музыки была почти оглушительной.

— Ну что, приехали, — сказал он, оборачиваясь с кривой усмешкой.

Никто не двинулся сразу.

Ксения смотрела на тёмный ряд гаражей и чувствовала, как где-то очень глубоко, под страхом, под усталостью, под горем, начинает просыпаться совсем другое чувство.

Предчувствие.

Тёмное, холодное, точное.

То самое, которое приходит перед бедой и почти никогда не ошибается

Глава 2. Отталкивающая симпатия

Гаражный кооператив встретил их так, будто это место давно отучилось быть человеческим. Ряды одинаковых железных коробок тянулись в темноту ровными, мёртвыми линиями, и под тусклыми лампами на столбах всё вокруг казалось вырезанным из ржавчины, сырого бетона и старого бензина. Ветер шёл между гаражами узкими холодными потоками, забирался под воротники, шевелил валяющиеся пакеты, гонял по асфальту сухие листья и песок. Где-то вддали лязгнула металлическая дверь, потом хлопнула другая, и этот звук разнёсся по кооперативу так, будто внутри каждой коробки кто-то жил своей отдельной, тёмной, ненужной никому жизнью. Из нескольких приоткрытых ворот сочился жёлтый свет, и вместе с ним наружу выходили запахи дешёвого табака, разогретого масла, пива, мужского пота и музыки, звучавшей так глухо, будто её слушали из-под земли.

Когда они вышли из машины, Ксения на секунду замерла и оглянулась. Темнота за воротами кооператива была плотной, почти вязкой, и в ней тонул город — с его маршрутками, квартирами, кухнями, больницами, чужими жизнями. Здесь же всё казалось отрезанным от нормального мира. Лишённым правил. В таких местах человек особенно остро чувствует, как мало на самом деле нужно, чтобы вечер перестал быть просто вечером и превратился в то, что потом годами вспоминаешь с дурным привкусом во рту.

Их было шестеро. Она, Марина, Вика, Сергей, Андрей и Саша. Шесть человек, случайно собранных одной ночью в гараже, где пахло железом, алкоголем и каким-то дешёвым желанием забыться. На первый взгляд ничего особенного. Если бы Ксения тогда умела доверять первым взглядам, её жизнь, возможно, сложилась бы проще. Но жизнь уже успела показать ей, что настоящее всегда прячется не в первом, а во втором и третьем впечатлении — в паузе перед ответом, в том, как человек смотрит, когда думает, что на него никто не смотрит, в том, как меняется лицо, когда шутка перестаёт быть шуткой.

Марина шла рядом, почти касаясь её плечом, как будто всё ещё не до конца верила, что стоило вообще сюда ехать. За последний месяц они успели узнать друг друга странно быстро — не так, как узнают людей в обычной жизни, где всё растягивается на годы, а через короткие, сжатые обстоятельства, в которых лишнее сразу отпадает. Познакомились они в библиотеке, ещё до того, как мир Ксении разлетелся на куски, и тот разговор мог не значить ничего, если бы не простая случайность: Марина искала работу, а Ксении в магазин как раз нужна была напарница. Она привела её туда почти не думая — не из великой доброты, а скорее из инстинкта, который тогда ещё жил в ней: если можешь помочь — помоги, не жди, пока тебя об этом попросят дважды. Марина оказалась из тех редких людей, в которых мягкость не была слабостью. Смуглая кожа, тёмные кучерявые волосы, карие глаза, в которых почти всегда держалась настороженная доброта, как будто она с детства привыкла сначала смотреть, а потом уже верить. Она говорила тихо, смеялась негромко и всё время будто держала внутри что-то невысказанное, но при этом рядом с ней Ксения чувствовала не неловкость, а странное спокойствие. В людях вроде Марины не было яркости, не было броской красоты, не было того, что мгновенно тянет внимание на себя, зато было другое — надёжность. Та редкая человеческая фактура, которую обычно замечают слишком поздно.

Вика, напротив, всегда входила в пространство как шум. Её не нужно было представлять — она сама делала это за себя всем, что говорила, как смеялась, как крутила головой, как бросала на людей быстрые оценивающие взгляды. Одноклассница из тех, кого в школе старались не сажать рядом с хорошими девочками, а сами хорошие девочки потом всё равно почему-то оказывались рядом — из любопытства, из скуки, из тайного желания хотя бы краем прикоснуться к чужой бесстыдной свободе. Вика была именно такой: оторва, тусовщица, лёгкая на

решения, от которых у других потом начинались проблемы, и на близость, в которой почти никогда не было выбора, а было одно привычное движение тела навстречу любому вниманию. Про таких обычно говорят двумя словами — плохая компания, — но редко кто честно признаёт, что плохая компания всегда появляется не сама по себе. Она приходит туда, где у людей внутри уже есть трещины.

Сергей в ту ночь сначала показался Ксении почти смешным в своей внешней несурзости. Высокий, худой, какой-то нескладный, с очками в круглой оправе, которые делали его то ли умнее, чем он был, то ли просто ещё нелепее. На лице ещё держались следы возраста, из которого он вроде бы уже вышел, но кожа ещё не успела это осознать — остатки подростковых прыщей, неровность, угловатость. На нём была салатная куртка, замызганная пятнами так, что невозможно было понять, то ли машинное масло, то ли пиво, то ли оба этих запаха давно срослись в одно. Джинсы были не лучше. Руки — в мазуте, под ногтями тёмная грязь, от которой не отмываешься за один раз, даже если трёшься щёткой. От него тянуло алкоголем — не слабым, не едва уловимым, а плотным, сырым, почти сладковатым, с примесью сигаретного дыма и дешёвой жвачки. В общем, не мужчина мечты, не герой, не тот, на кого смотришь и у тебя внутри что-то тихо переворачивается. И всё же в нём было то, что почему-то заставляло слушать. Он смеялся легко, разговаривал свободно, шутил так, будто мир ещё не успел его ударить, и именно это контрастировало с внешностью. А ещё — глаза. Ксения заметила их не сразу, а уже потом, когда он повернулся к свету и стекла очков поймали отблеск лампы. Глаза у него были странные, будто кто-то действительно смешал в одном человеке несколько оттенков и не дал им разойтись как положено. По краям они казались карими, к середине в них проступала холодная голубизна, а у самого зрачка вдруг вспыхивала зелень — не чистая, а расплывшаяся, как акварель, на которую капнули водой. Такие глаза не делали его красивым, но запоминались сразу.

Андрей держался в стороне с той застенчивой неловкостью, по которой почти всегда понятно: человек привык сначала извиняться своим присутствием, а уже потом говорить. Невысокий, рыхлый, с мягкой фигурой и спокойным лицом, в котором ничего не бросалось в глаза. Он не лез вперёд, не шутил громче всех, не строил из себя хозяина ситуации. Разговаривал мало, будто каждое слово проходило внутри у него лишнюю проверку. Таких людей часто не замечают, пока не начинается что-то настоящее — драка, истерика, беда, — и вот тогда внезапно становится видно, кто в комнате пустой, а кто просто тихий.

Саша был другим. Короткий, коренастый, собранный, с плотным спортивным телом человека, который либо когда-то занимался чем-то серьёзным, либо просто привык жить так, чтобы при случае уметь врезаться и не упасть сам. Болтун, гуляка, человек компании — это читалось в нём с ходу. Но агрессии в нём не было. Он говорил много, смеялся громко, легко перебивал и так же легко первым отступал, если чувствовал, что зашёл не туда. В нём жила та мужская безобидность, которая иногда обманывает: кажется, что перед тобой пустой весельчак, а потом выясняется, что именно он в нужный момент вытаскивает кого-то из беды быстрее всех.

Сам гараж изнутри выглядел так, как и должен был выглядеть гараж, в который люди приезжают не работать, а пить. Голые стены с пятнами сырости. На бетонном полу — тёмные следы старого масла. Вдоль одной стены — верстак, заваленный ключами, банками, грязными тряпками, какими-то железяками, у которых давно не было названия. У другой — старый продавленный диван с вытертой обивкой. Над ним висел календарь двухлетней давности с полуголой женщиной, уже местами выцветшей и смешной. В углу стоял музыкальный центр, тоже старый, с одной перекошенной колонкой, но ещё живой. Именно из него сейчас глухо и с хрипотцой тянулся какой-то русский поп, перемешанный с шансоном и дешёвой клубной музыкой, как будто кто-то однажды записал на диск всё, что нашёл в бардачке.

На столе, который когда-то, видимо, был собран из чего придётся, уже стояли пластиковые стаканчики, бутылки, нарезка, хлеб, открытая банка солёных огурцов и несколько одноразовых тарелок, на которые никто особо не смотрел. Алкоголя у ребят было с запасом. Это было заметно не только по количеству бутылок, но и по той хозяйской уверенности, с которой они всё это выставляли. Не как на случайную посиделку — как на вечер, у которого заранее не было плана, кроме одного: довести всех до того состояния, когда ночь теряет форму и становится просто чередой бессвязных решений.

— Ну что, девчонки, проходите, не стойте как на допросе, — Саша махнул рукой на стол и уже полез за стаканчиками. — Сейчас вас цивилизно напоим.

— Очень успокаивает слово «цивилизно» в гараже, — тихо сказала Марина, наклонившись к Ксении.

— Меня уже вообще мало что успокаивает, — так же тихо ответила та.

Саша тем временем ловко смешивал что-то прямо в пластиковом стакане. Алкоголь пах сладко и резко, перебивая даже бензин.

— Вам покрепче нельзя, — заявил он с важностью человека, которому внезапно доверили мировую политику. — Поэтому вот. Коктейль.

— А он из чего? — спросила Марина.

— Из опыта, интуиции и того, что нашлось, — ответил Сергей, усмехнувшись.

— Это звучит как угроза, — сказала Ксения.

— Зато честно, — подмигнул он.

Им с Мариной действительно налили по стаканчику чего-то сладкого, обманчиво лёгкого на вкус, но с тем внутренним жаром, который поднимался из горла в грудь почти сразу. Музыка стала громче. Вика, едва взяв свой стакан, уже как будто перестала быть с ними. Она быстро переместилась ближе к Сергею, то ли потому что изначально ехала сюда именно ради него, то ли потому что ей было важно сразу занять в любой компании своё понятное место — не рядом с подругами, а рядом с мужским вниманием. Она смеялась чуть громче, чем требовала шутка, касалась его руки, наклонялась слишком близко, и всё это выглядело так привычно, так обкатано, будто тело у неё давно выучило, как вести себя там, где голова уже не утруждает себя смыслом.

Ксения поначалу держалась напряжённо. Даже не из-за людей — из-за самой себя. Ей всё ещё казалось, что она чужая здесь, как будто вошла не в гараж, а на место преступления против собственной памяти. Всё ещё было слишком близко. Больница. Морг. Закрытый гроб. Голос отца из ожогового. Дом с защитными стенами и перекрытым газом. И среди всего этого — музыка, пластиковый стакан в руке, чужие шутки. Организм уже хотел хоть на час выдохнуть, а душа воспринимала этот выдох как предательство.

Но разговоры потянули её в себя почти помимо воли. Они были самыми обычными — кто где живёт, кто откуда, кто в какой школе учился, каких учителей помнит, кто у кого физруком был, кто списывал у кого на контрольных, кто с кем дрался в соседнем дворе. Оказалось, что почти все они с одного района и фактически выросли в нескольких улицах друг от друга. Только Марина была чужой для этого городского переплетения — из соседних деревень, со своим отдельным опытом, другой интонацией, другими привычками. Но и её разговор быстро втянул. Саша перескакивал с темы на тему, Андрей иногда вставлял короткие, неожиданные точные реплики, а Сергей то шутил, то как-то странно внимательно слушал, будто любую мелочь сразу складывал у себя внутри в отдельную папку.

— У вас в двадцать первой школе химичка ещё жива? — спросил Саша, закидывая в рот огурец.

— Жива, — ответила Ксения.

— Та, которая могла на весь класс мелом швырнуть?

— Она не могла, — Ксения вдруг усмехнулась. — Она швыряла.

- Вот! — Саша хлопнул ладонью по столу. — Я же говорю. Великая женщина.
- А у нас географичка линейкой по пальцам била, — сказала Марина.
- Это не географичка, это уже режим, — заметил Сергей.
- А ты вообще где учился? — спросила Ксения.
- В тридцать восьмой. Но больше жизнью, чем школой, если честно.
- Это заметно, — беззлобно сказал Андрей, и все засмеялись.

Смех пришёл к ней неожиданно. Не потому что шутка была гениальной, а потому что в какой-то момент напряжение внутри чуть ослабло, и оказалось, что тело ещё умеет реагировать по-человечески. Она поймала себя на том, что действительно смеётся, и это ощущение сначала было почти приятным — как если бы из заклинившего механизма наконец сдвинулась одна деталь. Марина, заметив это, тоже расслабилась. До этого она сидела слишком прямо, слишком внимательно следила за каждым взглядом в сторону Ксении, но теперь чуть откинулась на спинку стула и даже позволила себе ответить Саше какой-то шуткой в ответ.

- Ну всё, — сказал он, — оживили человека.
- Не переоценивай себя, — спокойно отозвалась Марина.
- А я и не себя. Я коллектив.
- Коллектив у вас сомнительный.
- Зато душевный.
- Это вы сами про себя придумали?
- Нет, — вмешался Сергей, — нам справку выдали.

Вика на этом месте засмеялась слишком громко и почти повисла у него на плече. Ксения машинально посмотрела на них и тут же отвела взгляд. Её удивляло не то, что Вика флиртowała — это как раз было привычно, — а то, как Сергей будто одновременно отвечал ей и не отвечал. Он позволял ей быть рядом, касаться, смеяться ему в лицо, но при этом взгляд его всё время уходил в сторону, скользил по другим людям, по Ксении тоже. Не липко, не нагло — скорее с каким-то внутренним беспокойством. Будто ему важно было всё время чувствовать, где в комнате находится не только та, что сидит у него на коленях, но и та, что сидит напротив.

Час прошёл почти незаметно. Алкоголь не ударил Ксении в голову так, чтобы стало легко, но всё же слегка размыл внутреннюю остроту. Музыка перестала раздражать. Гараж из чужого места превратился просто в тесное помещение с табачным воздухом и громкими голосами. Даже запах масла уже не резал так сильно. И именно в эту минуту, когда она почти позволила себе ослабнуть, зазвонил телефон.

На экране высветилось: папа.

Сердце мгновенно провалилось вниз, как будто кто-то резко открыл под полом люк.

— Я выйду, — коротко сказала она Марине и сразу поднялась.

Снаружи холод ударил в лицо так резко, что она протрезвела за секунду. Музыка за воротами звучала уже глухо, будто из другой жизни. Она отошла на несколько шагов в сторону, туда, где свет от лампы был слабее.

— Пап?

Голос отца в трубке был всё ещё больничный — надломленный, тяжёлый, с тем сухим привкусом усталости, который появляется у людей, прошедших через боль слишком надолго.

— Ты где?

Вопрос был простой. Обычный. Но Ксения вдруг почувствовала, как внутри всё леденеет.

— У Марины.

Это была не совсем ложь. Но и не правда.

— Как ты? — спросил он после паузы.

— Нормально.

— Дом смотрела сегодня?

— Да. Завтра ещё пойду по поводу света.

— Не тяни с этим.

— Я знаю.

Он дышал в трубку коротко, неглубоко, и каждый вдох звучал так, будто давался ему не бесплатно.

— Ты ела?

Этот вопрос добил её окончательно. Не крик, не упрёк, не подозрение. Просто это — ела?

У неё перед глазами вдруг встала вся сцена целиком: отец в больнице, бинты, боль, сорок дней ещё даже не прошло, а она стоит возле гаража среди ночи с коктейлем в крови и запахом чужих сигарет на волосах.

— Да, — ответила она слишком быстро.

— Спи тогда. Поздно уже.

— Хорошо.

— И не оставайся одна.

Она сглотнула.

— Не останусь.

— Ладно, Ксюш.

— Пап...

— Что?

Она хотела сказать что-то важное, но во рту стало сухо.

— Ничего. Спокойной ночи.

— Спокойной.

Когда звонок оборвался, тишина вокруг стала почти невыносимой. Ей мгновенно сделалось стыдно — не тем стыдом, который можно стряхнуть, а тяжёлым, вязким, от которого внутри всё покрывается мерзким налётом. Отец лежал в больнице. Мать умерла. Не прошло и сорока дней. А она здесь, в гаражах, с чужими людьми, смеётся над шутками. Не потому что ей хорошо. Не потому что она забыла. Именно поэтому и было так погано: она не забыла ни на секунду, но всё равно позволила себе отвлечься. И от этого тошнило уже не от алкоголя, а от самой себя.

Она убрала телефон в карман, медленно повернулась — и почти врезалась в Сергея.

Он подошёл так тихо, что она не услышала ни шагов, ни скрипа гравия. Просто вдруг оказался рядом — слишком близко для человека, которого она знала всего пару часов.

— Извини, — сказал он. — Не хотел пугать.

— Получилось.

Он усмехнулся, но как-то криво. На улице его лицо выглядело иначе, чем в гараже. Без музыки, без общего шума, без компании оно казалось моложе и одновременно неприятнее. Алкоголь на нём проступал сильнее. От куртки тянуло сыростью, мазутом и пивом.

— Всё нормально? — спросил он.

— Нет.

— Понятно.

Пауза повисла между ними слишком плотная.

Потом он вдруг спросил:

— У тебя есть парень?

Вопрос прозвучал так нелепо и не к месту, что Ксения сначала даже не поняла, что именно её задело сильнее — сам вопрос или момент, в который он прозвучал. За её спиной гремела музыка, в гараже Вика, с которой он ещё недавно зажимался, отец только что звонил из больницы, а этот человек стоит напротив неё с лицом, на котором читается пьянь, и спрашивает, есть ли у неё парень.

Она посмотрела на него в упор.

— Сложно.

— Это как?

— Это значит — сложно.

На самом деле она и сама не знала, что отвечать. Парень у неё вроде бы был. И вроде бы уже не было. Он исчез, сбежал в тот самый момент, когда всё начало рушиться, а потом объявился уже после смерти матери — с извинениями, с какими-то несчастными словами, с попыткой залатать то, что не залатывается. Но увидеться они тогда так и не успели. Всё висело в этом мерзком неопределённом состоянии, где нельзя сказать ни да, ни нет, потому что и правда на обоих словах звучит криво.

Сергей кивнул, будто понял больше, чем она сказала.

— У меня тоже всё сложно было.

— У всех, — сухо ответила она.

Но его уже понесло. То ли алкоголь разжал внутри него какой-то клапан, то ли он и трезвый жил в этом режиме — вываливать на людей душу так быстро, будто иначе они не заметят, что он вообще существует. Он начал рассказывать про недавние отношения, про какую-то одноклассницу, с которой встречался пару лет, про то, что они месяц назад расстались, и чем дольше он говорил, тем меньше в этом было реального разговора и тем больше — не то жалобы, не то спектакля, который он зачем-то решил разыграть именно перед ней.

— Я, понимаешь, думал, что это всё серьёзно, — говорил он, глядя куда-то мимо неё. — Ну типа прям надолго. А она взяла и всё. Как будто я вообще никто. Как будто два года — это просто так.

— Угу, — сказала Ксения.

— Нет, ты не понимаешь. Я реально...

Он осёкся, провёл ладонью по лицу и вдруг посмотрел на неё глазами, в которых уже стояла влага — не пьяная даже, а почти детская, нелепая.

— Мне хреново, короче.

Вот тут её и накрыло злостью.

Не потому что человек страдал из-за разрыва. Не потому что его чувства были смешны. А потому что в эту секунду всё совпало слишком точно: её собственная боль, стыд после разговора с отцом, сырой холод, этот гараж, Вика за стеной, которая только что висла на нём, и он — с этим своим жалостливым, размазанным по лицу несчастьем из-за девчонки.

Она посмотрела на него и уже не стала выбирать слова.

— Знаешь что? У меня мать умерла. Я её три дня назад похоронила. И вот я стою здесь и не реву. А ты мне из-за какой-то девчонки сейчас сопли размазываешь.

Он замер.

— Ты сопляк, — сказала она тихо и жёстко. — И слабак.

Этого хватило.

Есть слова, которые мужчины определённого склада переносят легче удара. Есть те, от которых они только смеются. А есть одно-два, которые попадают прямо в ту часть, где у них вместо уверенности живёт хлипкое, болезненное самолюбие. Слабак был именно таким словом.

Лицо Сергея изменилось мгновенно. Слёзы ушли. Осталась только вспышка — злая, короткая, почти детская в своей бессмысленности.

— Понял, — сказал он.

Развернулся и пошёл прочь.

Ксения сначала даже не двинулась. Она просто смотрела, как он быстрым шагом идёт к машине, как дёргает дверь, как садится за руль. Внутри будто что-то уже поняло раньше головы, что сейчас будет плохо, но тело не среагировало.

— Серёг, ты куда? — крикнул из гаража Саша.

Вместо ответа взревел мотор.

Машина рванулась вперёд так резко, что колёса взвизгнули по асфальту. Сергей вылетел из ряда гаражей на проезд, долетел до перекрёстка в конце линии, там резко развернулся — фары описали по стенам белую дугу — и в следующую секунду уже шёл обратно, прямо на неё.

Времени было достаточно, чтобы отскочить.

Достаточно, чтобы закричать.

Достаточно, чтобы сделать хоть что-то.

Но Ксения осталась стоять.

Почему — она потом не могла объяснить. То ли внутри после взрыва что-то сломалось и перестало реагировать на угрозу так, как реагируют нормальные люди. То ли её так выжгло за последние недели, что тело просто отказалось верить в ещё одну смерть. То ли в ней вдруг поднялось упрямое, чёрное: ну давай.

Фары ударили в лицо так ярко, что всё вокруг исчезло. Остался только белый свет, грохот мотора и визг шин. Ей показалось, что земля под ногами задрожала. Воздух наполнился острым запахом горелой резины и мокрого металла.

Кто-то кричал.

Марина — она потом узнает это по голосу.

— Ксения!

Машина неслась прямо на неё, слишком быстро, слишком близко, и в какой-то страшной, неестественной ясности она вдруг увидела за лобовым стеклом лицо Сергея — перекошенное, белое, с совершенно бешеными глазами. Не смелое. Не мужское. Именно бешеное.

Тормоза ударили в последний момент.

Машину повело юзом, потому что он резко вывернул руль. Передний бампер остановился почти у её коленей. Колёса скользнули по мокрому асфальту, запахло жжёной резиной ещё сильнее, и на секунду всё будто застыло: мотор ревёт, фары бьют в грудь, сердце внутри не бьётся вовсе.

Потом в движение вернулись все сразу.

Саша и Андрей рванули к водительской двери. Кто-то дёрнул её на себя. Сергей, кажется, даже не сопротивлялся толком — его просто вытащили наружу и оттолкнули к стене гаража.

— Ты ебанулся?! — орал Саша.

— Ключи дай! — рявкнул Андрей, и это было, наверное, первое длинное предложение, которое Ксения слышала от него за вечер.

Сергей что-то отвечал, но слова распадались на мат, слюну и пьяную бессвязность. Ключи у него вырвали. Кто-то толкнул его в грудь. Он попытался шагнуть обратно, но его снова прижали.

Марина уже была рядом.

Она подбежала к Ксении, схватила её за плечи и начала трясти так, как трясут человека, который только что вышел из-под воды.

— Ты что?! Ты что творишь?! Ты почему не отошла?!

Ксения смотрела на неё и не понимала слов. В ушах всё ещё стоял визг шин. Перед глазами оставались белые пятна от фар.

— Ксюш, ты меня слышишь?

— Да, — голос прозвучал чужим.

— Да не слышишь ты ничего.

Марина прижала её к себе так резко, что та только теперь почувствовала, как у неё дрожат колени.

Шум вокруг продолжался ещё несколько минут. Саша матерился, Андрей что-то говорил уже тише, но жёстко. Вика вышла из гаража и застыла в стороне с таким лицом, будто не могла понять, в какой момент весёлый вечер превратился в это. Её не было рядом именно тогда,

когда надо было быть, и Ксения почему-то подумала об этом с холодной ясностью: Вика всегда исчезает в тот момент, когда из развлечения рождаются последствия.

Когда Сергей чуть успокоился — или просто понял, что дальше рыпаться бессмысленно, — его отпустили. Он стоял, тяжело дыша, с мокрыми волосами на лбу и глазами уже не бешеными, а какими-то опустошёнными. Потом медленно подошёл к Ксении.

Марина сразу шагнула между ними.

— Не надо, — сказала она.

— Я ничего не сделаю, — ответил он глухо.

Ксения могла бы отойти. Могла сказать ему всё, что думала. Могла плюнуть ему в лицо. Но стояла на месте, потому что внутри после такого обычно не рождаются правильные слова. Там появляется только тупая гулкая пустота.

Сергей остановился перед ней, посмотрел сверху вниз и вдруг сделал то, чего она не ожидала совсем.

Он обнял её.

Не грубо, не жадно, не пьяно-нахально. Странно. Почти осторожно.

Ксения окаменела.

Потом он наклонился и поцеловал её в макушку — коротко, почти по-детски, и тихо сказал:

— Спасибо.

Она отшатнулась так, будто его прикосновение дошло до неё только сейчас.

— За что? — выдохнула Марина вместо неё.

Но Сергей уже отошёл.

Это «спасибо» повисло в воздухе хуже любого оскорбления. В нём было что-то больное, перекошенное, такое, что не укладывалось ни в нормальную логику, ни даже в пьяную дурь. Спасибо за что? За то, что она не отошла? За то, что назвала его слабаком? За то, что он увидел предел собственной мерзости и всё равно не пробил его до конца? Ксения не знала. Но именно это слово потом ещё долго возвращалось к ней по ночам — тихое, непонятное, сказанное у самой головы.

— Мы уезжаем, — твёрдо сказала Марина.

Никто не спорил.

Им стало ясно сразу: оставаться здесь нельзя. Не потому что страшно — страх как раз ещё не успел до конца дойти до сознания, — а потому что ночь уже перешла ту черту, за которой чужая компания перестаёт быть просто компанией и становится местом, где всё следующее может оказаться ещё хуже предыдущего.

Проблема была только одна: они понятия не имели, где находятся.

Кооперативы ночью все похожи друг на друга. Выходишь за ворота — и вокруг те же тёмные улицы, те же заборы, редкие фонари и пустота, в которой даже ориентиры кажутся вымышленными.

— Магазин где-нибудь должен быть, — сказал Саша уже спокойнее. — Если пройти туда, на дорогу.

— Проводить? — спросил Андрей.

— Не надо, — отрезала Марина прежде, чем Ксения успела открыть рот.

И правильно. После того, что только что случилось, даже безобидное мужское присутствие рядом воспринималось как лишний риск.

Они вышли из кооператива вдвоём. Ночь успела стать ещё холоднее. Асфальт местами блестел сыростью. Дорога за гаражами была почти пустая, только изредка где-то вдалеке проходила машина, и её свет скользил по мокрым заборам и голым веткам. Шли молча. Только шаги, хруст мелкого щебня под подошвами и их дыхание — одно резкое, другое сбивчивое.

Через несколько минут показался магазин — маленький, жёлто освещённый, с решёткой на окне и грязными ступенями. Внутри пахло колбасой, кофе из пакетиков и тёплым пивом. Продавщица посмотрела на них тем взглядом, которым женщины ночных магазинов смотрят на всех одинаково — устало, но цепко, сразу понимая, что вечер у этих людей был не из тихих.

— Девушка, адрес подскажите, пожалуйста, — спросила Марина.

Продавщица назвала улицу и номер кооператива.

Марина записала на обороте какой-то бумажки.

Ксения стояла рядом, обняв себя руками, и только теперь начала по-настоящему чувствовать случившееся. Тело медленно возвращало ей всё по частям: сначала слабость в коленях, потом холодный пот под курткой, потом тошноту, потом поздний липкий страх, который приходит уже после опасности и именно поэтому кажется самым унижительным.

— Вам такси вызвать? — неожиданно спросила продавщица, глядя уже не на Марину, а на Ксению.

— Мы сами, — ответила та, но голос её звучал глухо.

Такси приехало не сразу. Пока ждали, они стояли у магазина под козырьком. Лампа над дверью трещала, собирая вокруг себя мелких ночных мошек. Где-то во дворе лаяла собака. Из-за угла тянуло дымом — кто-то, видимо, жёг мусор или грелся у железной бочки. Марина всё это время молчала. Не потому что не знала, что сказать. Просто иногда молчание — единственная уважительная форма участия.

Наконец она всё же повернулась к Ксении.

— Ты зачем осталась стоять?

Ксения долго смотрела в темноту перед собой.

— Не знаю.

— Это не ответ.

— Другого нет.

Марина скрестила руки на груди.

— Ты понимаешь, что он мог тебя убить?

— Понимаю.

— И?

— И ничего.

— Как это — ничего?

Ксения устало провела ладонью по лицу.

— Марин, у меня дом взорвался. Мать умерла. Отец в ожоговом. Ты думаешь, после этого мозг всё ещё работает как у нормального человека?

Марина замолчала.

— Я не хотела умирать, — тихо добавила Ксения. — Просто в тот момент... как будто не было внутри команды бежать. Понимаешь? Будто всё уже и так слишком далеко зашло.

Марина опустила глаза.

— Я испугалась за тебя.

— Я знаю.

— Я бы тебя не простила.

Ксения впервые за весь этот разговор посмотрела на неё по-настоящему.

— Себе?

— Тебе тоже.

Такси пришло с опозданием минут на десять, но после такой ночи это уже ничего не значило. Водитель был молчаливый, с тяжёлым лицом и радио, бубнящим слишком тихо, чтобы различать слова. Они сели на заднее сиденье, и как только машина тронулась, Ксения вдруг почувствовала такую усталость, будто из неё вытащили все внутренности и оставили одну оболочку. За окном тянулись тёмные улицы, фонари, заборы, редкие окна. Всё вокруг было обыч-

ным, ночным, городским — и от этой обычности ещё сильнее хотелось выть. Мир снова делал вид, что ничего не произошло.

— Куда? — спросил водитель.

Марина назвала адрес.

— Далёко вас занесло, — сказал он.

Ни одна из них не ответила.

Дома, в жакете, было тихо. Даже коридор будто спал. Они разделись, стараясь не шуметь, прошли в комнату, и только там, за закрытой дверью, Марина наконец села на край кресла и уронила лицо в ладони.

— Господи.

Это было первое её по-настоящему беззащитное слово за вечер.

Ксения стояла у окна и смотрела в тёмное стекло, где отражалась комната: шкаф, стул, край кровати, их усталые силуэты.

— Прости, — сказала она вдруг.

Марина подняла голову.

— За что?

— За всё это.

— Ты серьёзно?

— Если бы я не поехала...

— Ксения, — Марина устало выдохнула. — Хватит искать в себе виноватую за всё на свете.

— А что, не так?

— Не так.

— Я вообще не должна была туда ехать. Я не должна была пить, смеяться, сидеть с ними...

— Ты не обязана хоронить себя вместе с матерью.

Удар пришёлся точно. Ксения резко повернулась к ней.

— Не говори так.

— А как говорить? — Марина тоже поднялась. — Ты сама себя жрёшь за каждый вдох. За то, что поела. За то, что вышла на улицу. За то, что засмеялась один раз. Так нельзя.

— А как можно?

— Жить.

— Очень удобно звучит.

— Я не говорю, что удобно! — Марина впервые повысила голос. — Я говорю, что иначе ты сдохнешь быстрее, чем успеешь что-то понять.

После этих слов в комнате снова стало тихо.

Они легли поздно. На том же раскладном кресле, в той же тесноте, только теперь тело у Ксении ещё долго не могло найти покой. Стоило закрыть глаза, как возвращались фары. Белый свет. Визг шин. Мокрый блеск капота у самых коленей. И это чудовищное, нелепое «спасибо», сказанное человеком, который секунду назад мог размазать её по бетону.

Но хуже всего было не это.

Хуже всего снова пришло чувство вины.

Оно не ослабло после страха — наоборот, стало только грязнее. Ей казалось, что этой ночью она предала память матери дважды. Сначала позволив себе отвлечься. Потом — позволив чужому человеку устроить вокруг её горя свой пьяный спектакль. Отец лежал в больнице. Мать лежала в земле. А она пила коктейль в гараже, смеялась и слушала, как какой-то мальчишка плачет из-за брошенной девчонки.

Эта мысль давила сильнее, чем страх смерти.

— Ты спишь? — тихо спросила Марина в темноте.

— Нет.

— Я тоже.

Пауза.

— Ты не виновата, — сказала Марина.

— Не надо.

— Надо.

— Не сегодня.

Марина повернулась к стене и больше ничего не сказала.

Но сон всё равно не шёл. Ночь тянулась медленно, как болезнь. За окном ветер снова чем-то бил по подоконнику. В коридоре кто-то кашлянул. Потом всё затихло.

И уже почти под утро, на самом краю сна, Ксения вдруг увидела перед собой не машину, не фары, не гаражи.

А мать.

Не больничную. Не мёртвую. Просто такую, какой она запомнилась в обычной жизни — уставшую, живую, с тем взглядом, в котором всегда было больше понимания, чем слов.

Она ничего не говорила.

Только смотрела.

И от этого безмолвного взгляда Ксении стало так больно, что она проснулась рывком, с мокрым лицом и руками, вцепившимися в одеяло.

Марина тут же поднялась на локте.

— Что?

Ксения долго не могла ответить.

— Ничего.

Но обе знали, что это неправда.

Утро придёт всё равно. Снова будут бумаги, дом, отключённый газ, отец в больнице, короткие разговоры, люди, которым до тебя нет дела, и те редкие, кому всё же есть. А где-то между этим будет жить ещё одна ночь — в гаражах, среди одинаковых железных коробок, музыки, дешёвого алкоголя и мальчика с глазами, в которых смешалось сразу несколько цветов. Ночь, когда Ксения впервые ясно увидела, как легко чужая слабость превращается в угрозу. И как страшно, когда внутри тебя самой уже нет сил вовремя отойти.

Сергей войдёт в её жизнь именно так — не как красивое начало, не как спасение, не как человек, на которого можно опереться, а как треск тормозов в нескольких сантиметрах от тела и странное слово благодарности после попытки сломать чужой страх пополам. Всё остальное придёт потом. Разговоры, встречи, сближение, ложь, притяжение, боль. Но первое настоящее впечатление уже случилось этой ночью, и оно было честнее всех последующих.

Иногда судьба приходит не с музыкой и не с красивыми знаками.

Иногда она приходит на грязной машине, пьяная, с мазутом под ногтями.

И всё равно задевает именно там, где потом остаётся шрам.

Глава 3. Дом без тепла

Следующие дни потекли одинаково, как мутная вода по ржавой трубе, — без формы, без вкуса, с одним и тем же холодом внутри. Утро начиналось ещё до света, когда небо за окном было серым и тяжёлым, а воздух в комнате кусал лицо так, будто ночь за это время успела просочиться внутрь и осесть на стенах инеем. Ксения вставала не потому, что выспалась, а потому, что дальше лежать не имело смысла. Смысл вообще в те недели держался на вещах примитивных: встать, умыться, одеться, добраться, достоять, добиться, вернуться. Всё остальное — мысли, чувства, попытки что-то осознать — мешало, как лишний груз в руках.

Сначала были справки. Потом бумажки к справкам. Потом кабинеты, где одни и те же слова повторялись таким тоном, будто её беда давно внесена в общий реестр скучных неудобств. Потом горгаз, электрики, акты, подписи, печати, очереди, в которых люди пахли мокрой шерстью, табаком, дешёвым кремом для рук и раздражением. В коридорах всегда было душно, а стоило выйти на улицу — мороз вцеплялся в щёки так резко, что кожа немела за секунды. Ксения носила в сумке документы, паспорт, блокнот, ручку, какие-то квитанции, списки телефонов, и всё это шуршало, мялось, тёрлось друг о друга, словно её жизнь действительно свелась к пачке бумаги, которую надо постоянно предъявлять в доказательство того, что горе было настоящим.

После всей этой бумажной возни она почти каждый день ехала в дом одна. Не домой — именно в дом. Домой это место перестало быть в ту секунду, когда ударная волна вырвала из него воздух, тепло и мать. Теперь это было помещение с повреждёнными стенами, затянутыми пустотой углами, запахом гари и чем-то ещё, что не выветривалось даже на морозе. Сухой, липкий привкус беды вьелся в дерево, обивку, ткань, даже в сам бетон, как будто дом продолжал тлеть не снаружи, а где-то глубоко внутри собственных костей.

Работы там было столько, что, если смотреть на всё сразу, хотелось сесть среди этого хаоса прямо на пол и ничего не делать вообще. Потолок в нескольких комнатах обвалился кусками. Стёкла хрустели под ногами по всему дому, будто зима проросла внутрь тысячей мелких острых кристаллов. Шкаф в одной из комнат сложился набок, как карточный домик, и теперь его створки торчали под нелепым углом, а вещи, которые раньше аккуратно лежали на полках, валялись серой, пыльной кучей на полу. Обгоревшие края мебели выглядели не домашнему, а почти телесно — чёрные, перекошенные, с пузырями лака, будто что-то живое когда-то пыталось отсюда вырваться и не успело.

Но хуже всего было не это.

Хуже всего было искать Трикси.

Маленькая собачка, лёгкая, суетливая, с тем вечным собачьим доверием к человеку, которого человек почти никогда не заслуживает. Чёрного кота по кличке Спайк Ксения нашла сразу, в первый день. Он сидел за кроватью в её комнате, прижавшись к стене, огромными глазами следя за каждым движением. Во время взрыва его чудом не зацепило. Он не пострадал, если не считать того, что после всего случившегося стал молчаливым, злым и по ночам вздрагивал от малейшего скрипа. Его Ксения тогда же забрала с собой к Марине, и в тесной комнате жакта тот некоторое время жил под шкафом, выходя только ночью, чтобы поесть и проверить, не ушёл ли снова мир из-под лап.

Трикси не было.

Ксения искала её каждый раз, когда приходила. Сначала звала вслух, хотя прекрасно понимала, что если бы собака была жива и могла откликнуться, она бы уже давно это сделала. Потом заглядывала под завалы, за шкафы, между обломков, в кладовку, во двор, за дом, в сарай, в те места, где сама бы никогда не спряталась, но где в панике могло спрятаться маленькое перепуганное существо. Несколько раз ей казалось, что она слышит цоканье коготков по

полу. Останавливалась, замирала, даже задерживала дыхание, чтобы не спугнуть этот звук. Но дом отвечал только скрипом остывающих досок и далёким стуком где-то в глубине — то ли ветка билась о стену, то ли что-то оседало внутри после удара.

На третий или четвёртый день ей показалось, что она видит Трикси боковым зрением. Чёрное быстрое пятно в коридоре, мелькнувшее у самой стены и тут же исчезнувшее за дверным косяком. Ксения так резко обернулась, что поскользнулась на осколках.

— Трикси!

Голос ушёл в пустоту.

Она добежала до коридора, заглянула за дверь, в соседнюю комнату, в кухню. Никого.

Только холод, сквозняк и старый запах горелого пластика.

Тогда она впервые по-настоящему испугалась не за собаку, а за себя.

Потому что чёрное пятно было слишком отчётливым. Слишком реальным для усталости. И слишком быстрым для мысли. Она ещё стояла в коридоре, ощущая, как воздух проходит по коже под свитером ледяным ножом, когда в доме неожиданно тихо звякнуло стекло. Будто кто-то ногтем легонько тронул край стакана.

Так звенит посуда, когда её берут с полки.

Именно так Елена когда-то снимала кружки перед чаем — небрежно, на автомате, но с этим характерным тонким звуком. Ксения замерла, и сердце внутри ударило так сильно, что на секунду ей показалось, будто её сейчас стошнит. Она пошла на звук очень медленно, чувствуя, как под подошвами шуршит стекло. На кухне никого не было. На столе стояли только две кружки, обе пыльные, обе не тронутые. Сквозняк шевелил край обгоревшей занавески. Водопроводная труба в стене тихо щёлкала остывающим металлом.

— Это из-за усталости, — сказала она вслух, и собственный голос прозвучал неуверенно.

Дом на это ничего не ответил, но тишина после её слов стала гуще.

За эти дни Сергей и Вика не появлялись. Это даже было к лучшему. Они были заняты друг другом — Вика быстро нашла в нём очередного любовника и, как часто бывало с ней, временно забыла обо всём, что не давало ей прямой выгоды в виде внимания, драйва или секса. Ксения не обижалась. На Вику она уже давно не тратила эмоции, которые могли бы пригодиться на что-то настоящее. Были люди, от которых достаточно один раз услышать отказ в нужный момент, чтобы навсегда перестать ждать от них хоть какого-то человеческого жеста.

Каждый день она была на связи только с тремя людьми: с отцом, с дядей Владимиром и с бабушкой Аллой. Причём за бабушку она переживала, пожалуй, сильнее всего. Она сама потеряла мать. А Алла потеряла дочь. И между этими двумя потерями лежала пропасть, которую невозможно было измерить одним словом «горе». В голосе бабушки теперь всё время жил надлом, тихий, старческий, но не из-за возраста. Как будто внутри неё что-то треснуло и с тех пор каждый звук проходит через эту трещину.

— Ты ела? — спрашивала бабушка почти каждый раз.

— Ела.

— Не ври мне.

— Бабуль, правда.

— Я тебя знаю.

Иногда бабушка молчала дольше обычного, и Ксения слышала в трубке не слова, а только дыхание и какие-то шорохи. Понимала: Алла плачет, просто не хочет, чтобы внучка это слышала.

— Ты держись, девочка моя, — говорила она потом. — Ты теперь сильная должна быть. Ксения каждый раз кивала, хотя знала, что бабушка её не видит.

Сильной.

Это слово за последние недели стало отвратительным. Его говорили все, кому нечего было дать, кроме пустого пожелания. Будь сильной. Держись. Ты справишься. Как будто в человеке после катастрофы автоматически включается какой-то внутренний генератор силы. Как будто у него есть выбор — выдержать или не выдержать. На самом деле выбора обычно нет. Просто если не встать, не поехать, не подписать, не сделать, всё окончательно развалится. Вот и вся сила.

Однажды, уже ближе к середине декабря, позвонил отец. Голос у него в тот день был не такой, как обычно. Не больничный, не усталый — упрямый.

— Доча, я еду домой.

Ксения, которая в этот момент стояла на улице возле горгаза и грела руки дыханием, сначала даже не поняла смысл сказанного.

— Как домой?

— Вот так.

— Зачем?

— Потому что хватит.

— Чего хватит?

— Хватит лежать по чужим углам и быть никому не нужным калекой.

Она закрыла глаза.

— Пап, ты с ума сошёл? Куда ты едешь? Дом не дом. Середина декабря. Морозы. Там жить нельзя.

— Что-нибудь придумаем.

— Что мы придумаем? — она почти сорвалась на крик. — У нас окна забиты через одно, двери держатся как попало, отопление не запущено, газ отключен, ты с руками своими...

— Я сказал, приеду.

В этом тоне спорить было бесполезно. Вова вообще был человеком из тех мужчин, у которых упрямство — не черта характера, а костная ткань. Если он что-то решил, мир мог сдвинуться на несколько градусов, но не он.

И они действительно придумали.

Вернее, выжили.

Окна забили как смогли. Двери завесили старым одеялом и плотной тканью, чтобы хоть как-то отсечь сквозняк. Соседка дала им масляный радиатор, старый, тяжёлый, пахнувший пылью и чем-то сладковато-горелым, как все старые обогреватели. Дядя купил тепловую пушку. Та орала так, будто у них в доме по вечерам заводили маленький реактивный двигатель, но другого тепла всё равно не было. Отец наотрез отказался хотя бы временно жить у дяди на квартире. Говорил, что в своём доме, даже если он полуразрушен, человек хотя бы знает, где у него стены. Ксения спорила первые два дня, потом перестала. На споры тоже нужна энергия, а у неё она уходила на другое — на бесконечное поддержание быта в пространстве, где быта почти не осталось.

Первые пять дней они жили именно так. Спали в одежде, под несколькими слоями одеял, просыпаясь среди ночи от того, что изо рта идёт пар. Ели то, что можно было заварить кипятком или быстро купить в магазине: хлеб, колбасу, доширак, кофе, иногда какие-то консервы. На кухне всё ещё пахло бедой, и этот запах становился особенно заметен утром, когда холод за ночь прижимал его к стенам и полу. Умыться было целым событием. Воды не хватало, тепла тоже. Почистить зубы — уже хорошо. Нормально помыться — почти праздник. Про нормальную гигиену в тех условиях говорить не приходилось вообще.

Пока Ксения носилась по инстанциям, отец делал дома то, что мог своими повреждёнными руками. Вова вернулся из больницы с ожогами, перевязками, болью, которая делала его злее с каждым днём, и с той особой мужской немотой, когда человек не говорит, что ему плохо, а просто начинает двигаться так, будто каждое движение режет по живому. Утром и вечером

были перевязки. Прямо там, в холодном доме, под светом лампы, которая мигала от любого перебоя. Ксения помогала как могла: подавала бинты, лекарства, воду. Иногда он шипел сквозь зубы, когда марля отдиралась от кожи. Иногда просто молчал, и от этого молчания становилось ещё хуже.

— Потерпи, — тихо говорила она.

— А у меня есть варианты? — отвечал он, даже не поднимая глаз.

В этом доме всё теперь происходило с привкусом унижения: есть, спать, лечиться, умыться, переодеваться. Катастрофа отнимает у человека не только безопасность. Она отнимает простейшее достоинство существования.

Когда Ксении всё же удалось добиться восстановления газа, к ним наконец пришёл мастер. Мужик лет пятидесяти, с потрескавшимися руками, в ватнике, пахнувший морозом и табаком. Долго копался в трубах, ругался себе под нос, что-то проверял, крутил, стучал. Потом запустил отопление.

И в тот момент, когда по трубам впервые пошло тепло, в доме отпустило что-то невидимое — не сразу, не полностью, но достаточно, чтобы они оба на секунду выдохнули.

— Ну вот, — сказал мастер, выпрямляясь. — Теперь хоть жить можно.

Ксения посмотрела на батарею, которая медленно, почти неохотно начинала нагреваться, и внезапно почувствовала, что у неё дрожат руки. Так сильно хотелось тепла, что это почти казалось слабостью.

В этот же период снова появился Сергей.

Видимо, Вика всё-таки рассказала ему, что у неё случилось. Приехал он без предупреждения. Просто однажды, когда Ксения стояла во дворе и вытаскивала к мусорной куче обгоревший табурет, рядом остановилась знакомая машина. Она напряглась раньше, чем увидела его лицо.

Сергей вышел, хлопнул дверью и несколько секунд стоял молча, глядя на дом. На его лице не было привычной кривой улыбки. Он медленно осматривал окна, крышу, зашитые стены, обугленные следы возле крыльца. И в этот момент впервые выглядел не мальчишкой, который играет в взрослого, а человеком, до которого наконец дошёл масштаб чужой беды.

— Я не знал, что всё настолько... — Он замолчал, не договорив.

— Теперь знаешь, — ответила Ксения.

Он кивнул.

Потом сказал то, что должен был сказать с самого начала:

— Я извиниться приехал.

Она молчала.

— За тот вечер. Я был в дерьме. Это не оправдание, я понимаю.

— Хорошо, что понимаешь.

Он смотрел на неё прямо, не отводя глаз.

— Я правда сорвался. И если бы...

— Но не убил, — холодно сказала она. — На этом спасибо?

Он дёрнул щекой.

— Можешь хоть сейчас послать меня. Будет за дело.

Ксения выдохнула в морозный воздух и вдруг почувствовала, что сил на ненависть у неё нет. Злость — есть. Недоверие — есть. Но ненавидеть по-настоящему нужно быть живее, чем она была в тот момент.

— Зачем приехал?

Сергей посмотрел на её руки, на табурет, на двор, на дом.

— Помочь.

Естественно, он ей был нужен. Не как мужчина, не как исповедь судьбы, а как банальная физическая сила. Собрать шкаф. Вытащить обгоревшую мебель. Перетащить тяжёлое.

Вывезти мусор. Сделать то, на что у неё самой уже не оставалось ни спины, ни рук, ни времени. И в тот момент она слишком нуждалась хоть в ком-то рядом, чтобы играть в гордость.

— Ладно, — сказала она наконец. — Но без фокусов.

— Не будет.

Он помогал.

И делал это, к её собственному раздражённому удивлению, нормально. Без показной жалости, без липких намёков, без попытки превратить помощь в валюту. Приезжал в той же своей салатовой куртке, с теми же пятнами, пахнувший бензином, железом и сигаретами, вытаскивал на улицу поломанные доски, выносил мусор, собирал мебель, матерился на перекошенные крепления и работал быстро, будто в руках у него наконец появлялось дело, в котором не надо было изображать чувства.

Отец поначалу смотрел на него насторожённо.

— Кто это?

— Знакомый.

— Нормальный?

Ксения хмыкнула.

— Вопрос сложный.

Сергей, кажется, слышал это и усмехнулся, но промолчал.

Потом Вова принял его присутствие без лишних слов. В такие моменты мужчина оценивает другого мужчину не по лицу и не по историям, а по тому, таскает ли тот мешки молча и держит ли инструмент в руках без показухи. Сергей таскал.

Одновременно с этим к отцу начали заходить так называемые друзья. Мужики с сочувствующими лицами и бутылками в пакетах. Они приходили «поддержать», «помянуть», «посидеть по-человечески». От этих визитов Ксению тошнило. Сначала сидели тихо, говорили о Елене, вспоминали, какая она была, вздыхали, качали головами. Потом рюмки становились чаще, голоса громче, а в комнате появлялся тот самый тяжёлый запах дешёвого алкоголя, от которого сразу становится ясно: сейчас скорбь начнут заливать, и никто не остановится вовремя.

Отец начал пить.

Не запойно, не в грязь, не так, чтобы падать лицом в стол, но достаточно, чтобы Ксения поняла: ещё немного, и дом, едва переживший огонь, начнёт медленно тонуть уже в другом. Ей это не нравилось, но она молчала. Видела, насколько тяжелее, чем она, он перенёс смерть Елены. У мужчин вроде Вовы горе редко выходит в слова. Чаще — в бутылку, в молчание, в ярость, в работу до потери сил. Он не умел плакать правильно. Значит, пил.

Единственным, кому Ксения потом будет благодарна за этот период по-настоящему, оказался капитан, у которого работал отец. Жёсткий, сухой мужик, привыкший, видимо, не жалеть людей больше, чем им полезно. Он быстро понял, к чему всё идёт, и начал гонять Вову на работу на вахту в соседний город.

— Будет дома сидеть — спьётся, — сказал он однажды прямо. — А у меня пусть хоть при деле голова будет.

Это действительно немного отвлекало отца, и Ксения впервые за долгое время почувствовала не облегчение даже, а хотя бы уменьшение тревоги. Когда Вова уезжал, в доме становилось пусто, но зато исчезал запах чужих соболезнований и разлитой водки.

В один из таких дней к ним приехали рабочие натягивать потолок — за счёт фирмы, конечно. Вроде бы хорошая новость. Нормальная. Та, которую человек ждёт, когда дом после взрыва собирают обратно по частям. Но Ксению эта новость накрыла так, что у неё затряслись пальцы ещё до того, как рабочие вошли в дом.

Потолок.

Натяжной.

Тот самый.

Её память не любила прямые ассоциации. Она вообще последние недели вела себя как больной зверь — не предупреждала, а бросалась. И стоило ей увидеть в коридоре рулоны материала и инструменты, как внутри всё сразу пошло назад, в тот день. Кухня. Баллон. Вспышка. Потолок, который сначала вздулся, будто живой, а потом лопнул над головой.

— Девушка, куда вот это ставить? — спросил один из рабочих.

Ксения посмотрела на него пустыми глазами и не сразу поняла слова.

— Вам плохо? — спросил второй.

— Нет, — соврала она. — Всё нормально.

Но ничего не было нормально.

Как только мужчины начали раскладывать оборудование, натягивать что-то, двигать лестницу, внутри неё поднялась такая паника, что стало трудно дышать. Не истерика — хуже. Холодный, животный ужас, лишённый даже слёз. Ей казалось, что ещё секунда, и воздух в доме снова вспыхнет. Что стены сейчас опять содрогнутся. Что её тело уже знает это и потому пытается бежать раньше головы.

На этот раз она не стала делать вид, что справится сама.

Достала телефон и позвонила Сергею.

Он ответил почти сразу.

— Алло.

— Ты где?

— В гараже. А что?

— Можешь приехать?

Пауза была короткой, но в ней он, кажется, успел понять главное.

— Сейчас буду.

Он приехал очень быстро. Настолько быстро, что Ксения даже не успела по-настоящему передумать. Зашёл в дом, посмотрел на рабочих, на её лицо, на сжатые в кулаки пальцы.

— Поехали, — сказал без лишних вопросов.

— А...

— Поехали, — повторил он. — Пока тебя здесь не разнесло.

Она только кивнула.

Они снова поехали в тот самый гаражный кооператив. Ирония была почти болезненной: место, где однажды ей стало по-настоящему страшно, теперь внезапно оказалось безопаснее дома. Или хотя бы не было связано с тем днём напрямую.

Сергей занимался ремонтами машин и практически всё время проводил в гараже. Для него это пространство было не декорацией к пьянкам, а реальной территорией жизни. Когда они вошли внутрь, там всё выглядело иначе, чем в ту ночь. Без Вики, без компании, без музыки на всю мощность. Тот же бетонный пол, тот же запах масла, железа и холодного металла, но теперь в этом месте появлялась какая-то собранность. На верстаке лежали инструменты в более-менее понятном порядке. В углу стоял электрический чайник. На полке — банки с крепежом, тряпки, провода, фильтры. Из старого радиоприёмника тихо играло что-то невнятное, почти фоном.

— Садись, — сказал Сергей, отодвигая с табурета какую-то железяку. — Я сейчас кофе сделаю.

— Ты здесь живёшь, что ли?

— Иногда кажется, что да.

Он налил ей кофе в толстую кружку со сколотым краем. Кофе был крепкий, дешёвый, с запахом жжёного сахара, но горячий. И именно это в тот момент было важнее вкуса.

Ксения сидела, обхватив кружку ладонями, и постепенно ощущала, как тело отходит от паники. В гараже было холодно, но не так, как в доме. Здесь холод не нес в себе воспомина-

ния, не подкрадывался к горлу вместе с запахом взрыва. Здесь он был обычным — зимним, рабочим.

— Ты всегда потолков боишься? — спросил Сергей, копаясь в каком-то ящике.

— Нет.

— А чего тогда?

Она долго молчала.

— Того, что всё повторится.

Он сел напротив, оперся локтями на колени.

— Не повторится.

— Откуда ты знаешь?

— Не знаю. Но если повторять себе другое, совсем жить нельзя.

Ксения подняла на него глаза.

— Ты сейчас звучишь умнее, чем выглядишь.

— Это меня всю жизнь недооценивают, — усмехнулся он.

— Не льсти себе.

— Не лъщю. Констатирую.

Они сидели и болтали на разные темы, сначала осторожно, потом чуть свободнее. Не о чувствах, не о том вечере — вокруг этого оба пока ходили по широкому кругу. Говорили о районе, о школе, о работе, о том, как он вообще влез в машины.

— С детства, — пожал плечами Сергей. — У нас во дворе если пацан не ковырялся в мопед, значит, с ним что-то не так.

— И тебе нравилось?

— Нравилось, что железо честнее людей.

— Философ.

— Нет. Просто карбюратор хотя бы не врёт, почему не заводится.

Она усмехнулась.

Он рассказывал свободно, но теперь Ксения внимательнее замечала, как устроен его разговор. Сергей умел быть лёгким. Умел смешить. Умел быстро создавать ощущение, будто вы знакомы давно. Но под этим всё равно жило что-то нервное, рваное, как плохо натянутый провод. Иногда он начинал говорить слишком быстро. Иногда взгляд его вдруг уходил в сторону и застывал там на долю секунды, как у человека, который внутри всё время слушает что-то ещё, кроме собеседника. Иногда смех приходил раньше, чем шутка действительно становилась смешной.

— А ты? — спросил он. — Ты всегда такая была?

— Какая?

— Словно всё видишь насквозь и тебе это не нравится.

Ксения отхлебнула кофе.

— Нет. Раньше я была спокойнее.

— А сейчас?

— Сейчас я просто уставшая.

Он кивнул так, будто понял больше, чем она сказала.

И в этот момент зазвонил его телефон.

На экране, который вспыхнул в полутьме гаража, высветилось имя: Вика.

Сергей коротко выругался себе под нос и всё-таки ответил.

— Да.

Пауза.

Потом ещё одна.

Лицо у него быстро стало таким, каким бывает у людей, которых по ту сторону не слушают, а сразу обвиняют.

— Вика, не начинай.

Ксения и без слов поняла, что произошло. Та каким-то образом узнала, что она с ним.

— Успокойся, — сказал Сергей уже жёстче. — Она не ко мне жить переехала.

Он отвёл телефон чуть в сторону, раздражённо выдохнул и посмотрел на Ксению.

— Будешь сама с ней?

Ксения протянула руку.

— Давай.

Он передал телефон.

Вика, как и ожидалось, кипела.

— Ты вообще охренела? — сразу в лоб, без приветствия.

— Нет.

— А что ты с ним делаешь?

— Сижу в гараже.

— Я в курсе, где ты сидишь!

— Тогда зачем спрашиваешь?

На том конце что-то зло зашипело.

— Ты специально, да?

— Вика, — Ксения устало закрыла глаза, — мне деваться некуда. У меня дома рабочие натягивают потолок, и меня трясёт от одного их вида. Мне страшно. Серёжа просто помогает.

Слова прозвучали спокойно, но внутри всё равно поднялось раздражение. Даже не из-за ревности Вики, а из-за того, насколько не к месту всё это было. Когда у человека дом по кускам собирают обратно, чужие разборки из-за того, кто с кем сидит в гараже, выглядят особенно жалко.

Вика помолчала.

— Просто скажи сразу, если что.

— Если что — что?

— Не делай из меня дуру.

Ксения усмехнулась без веселья.

— Это не моя работа.

Она сбросила звонок и вернула телефон Сергею.

— Мирная дипломатия? — спросил он.

— Нет. Просто мне лень участвовать в цирке.

Он тихо рассмеялся.

— Вот за это я тебя и уважаю.

— Не советую.

— Поздно.

За стеной гаража в этот момент что-то глухо ударило — может, захлопнулась дверь у соседей, а может, кто-то уронил металл. Ксения вздрогнула слишком заметно. Сергей сразу это увидел, но ничего не сказал, только встал, подошёл к магнитоле и сделал музыку чуть громче. Не чтобы заглушить мир, а чтобы у звуков появился фон и они перестали резать так остро.

Она смотрела на него поверх кружки и вдруг впервые за долгое время поймала в себе странное, опасное облегчение. Ей было чуть спокойнее рядом. Не потому что он хороший. Не потому что она простила. А потому что иногда человек, однажды уже показавший свою тьму, кажется безопаснее тех, кто улыбается слишком гладко и никогда не выдаёт ничего настоящего. В Сергее всё лежало почти на поверхности — нервы, дурь, обаяние, слабость, вспышки, непредсказуемость. Он не был чистым. Но был видимым.

Это не значит, что он был безопасен.

Просто Ксения уже начала путать одно с другим.

Они просидели в гараже долго. Кофе сменился ещё одним кофе. Потом чаем из пакетика, у которого был привкус железной воды. Снаружи сгущались сумерки, и лампа под потолком делала стены ещё грубее, а тени — длиннее. В какой-то момент Сергей снова полез что-то чинить под капотом старой машины, а Ксения сидела рядом на табурете и смотрела, как его пальцы быстро работают с инструментом. Руки у него были по-прежнему в мазуте, ногти чёрные, но движения точные. Иногда он комментировал то, что делает, как будто объяснял сам себе.

— Видишь? Вот тут уже всё сдохло давно, а хозяин удивляется, чего у него глохнет.

— Ты и людей так же диагностируешь?

Он хмыкнул из-под капота.

— Людей сложнее. У них поломки хитрее.

— И что у меня?

Он выпрямился, вытер руки тряпкой и посмотрел на неё через стекла очков.

— У тебя не поломка. У тебя всё ещё взрыв внутри идёт.

От этих слов по спине прошёл неприятный холод.

Она отвернулась.

— Ты иногда слишком много понимаешь.

— А ты иногда слишком много прячешь.

Ксения не ответила.

Потому что именно в эту секунду ей снова послышалось знакомое цоканье коготков по бетону.

Совсем рядом.

Она резко повернула голову.

У дальнего угла гаража на миг мелькнула маленькая тёмная тень. Быстрая, почти собачья по размеру. Ксения так резко вскочила, что табурет под ней скрипнул.

— Что?

— Ты не видел?

— Кого?

— Там кто-то пробежал.

Сергей посмотрел в угол. Там лежали только старые покрышки, коробка с деталями и бухта шланга.

— Крыса, может.

— Нет.

— Кошка?

— Нет.

— Тогда что?

Она не ответила.

Потому что сама не знала.

Это могла быть игра света. Усталость. Память. Нервная система, которая после всего случившегося начала сбоить, как перегруженная проводка. Но на секунду ей показалось, что это Трикси. Не живая — просто тень её движения. Как если бы память о маленьком теле теперь бегала за ней там, где ей быть не могло.

— Ты побледнела, — тихо сказал Сергей.

— Всё нормально.

— Врёшь.

— А ты слишком любишь это замечать.

Он не обиделся.

Только смотрел на неё своими странными глазами, в которых действительно смешивались цвета, как потёкшая акварель.

И Ксения вдруг подумала, что если бы рассказала ему про звон посуды в пустом доме, про мелькающую тень собаки, про ощущение, будто мать иногда стоит в коридоре за спиной, он либо решил бы, что она сходит с ума, либо, что ещё хуже, начал бы верить ей слишком охотно.

Она не хотела ни того, ни другого.

Когда вечером Сергей отвёз её обратно, дом уже выглядел иначе. Рабочие закончили, уехали, и новый потолок натянулся гладко, безупречно, как будто ничего никогда не рвалось и не падало. Именно эта гладкость пугала сильнее всего. Слишком ровно. Слишком чисто. Слишком похоже на попытку стереть память.

Ксения зашла внутрь, остановилась в коридоре и долго смотрела наверх.

Ничего не происходило.

Никакой вспышки. Никакого грохота.

Только дом, который делал вид, что его можно починить.

Но когда она уже собиралась закрыть дверь, ей вдруг снова послышалось тихое цоканье — на этот раз где-то в глубине комнаты.

Маленькие когти по полу.

Ксения медленно обернулась.

И там, у самого края стены, ей на секунду показалось знакомое тёмное пятно.

Она не двинулась.

Не позвала.

Просто стояла, чувствуя, как холод идёт по позвоночнику мелкими, точными зубцами.

Потом тень исчезла.

А может, её и не было.

И именно эта неуверенность начала пугать сильнее всего

Глава 4. Пепел под ёлкой

Город входил в последний день года так, будто сам не до конца верил в необходимость праздника. Небо с самого утра висело низкое, свинцовое, без просветов, и снег, который ещё неделю назад пытался выглядеть чистым и праздничным, к тридцать первому декабря успел превратиться в серо-бурую кашу по обочинам, в ледяные наросты у подъездов и в тяжёлую грязь на колёсах машин. Воздух был плотный, кусачий, с тем особым зимним запахом, в котором смешиваются дым из частных труб, выхлоп, холодное железо, мандарины из открытых пакетов, хвоя, дешёвый салютный порошок и влажная шерсть чужих шапок в магазинах. Ветер то затихал, то снова поднимался из-за углов домов, пробирался под куртку, впивался в лицо, заставлял шуриться и идти быстрее, даже если спешить было некуда. На окнах в частном секторе уже с утра горели гирлянды — кто-то вывесил их ещё в начале декабря, кто-то, как обычно, спохватился в последний момент. Они мигали неровно, болезненно весело, отражаясь в лужицах талого льда, в стёклах автобусных остановок, в тёмных витринах магазинов, где на дешёвом новогоднем дожде оседала пыль. Во дворах пахло жареным мясом, луком, майонезом и тем домашним возбуждением, которое страна из года в год разогревает сама в себе почти автоматически: сегодня можно пить с утра, резать салаты тазами, доставать хрусталь, звонить тем, кому весь год было лень, и дружно делать вид, будто эта ночь действительно что-то меняет.

Ксения зиму не любила никогда. Не было в ней для неё той правильной сказки, которую люди зачем-то приписывают снегу, огням и тихому падению белых хлопьев на чёрные ветки. Для других зима пахла мандаринами, ёлкой и подарками. Для неё — больницей, ледяным воздухом в коридоре морга, мёрзлой землёй на кладбище, гарью, перевязками и тем особым видом тоски, который рождается только в холоде, когда жизнь как будто нарочно показывает человеку, насколько он один на фоне большого белого мира. Всё, что по-настоящему ломало её жизнь, почему-то происходило именно зимой. И теперь, когда у всей страны был праздник, у неё внутри стоял тот же затяжной траур, только уже не острый, как в первые дни, а вязкий, тихий, въевшийся в кровь.

К вечеру мороз усилился. На тёмном стекле кухни медленно собирался ледяной узор, батареи уже грели, но всё равно от пола тянуло холодом, а дом оставался слишком большим для одного человека. Отец снова ушёл на вахту в Азов. Ксения не спорила — с тех пор как капитан начал вытаскивать его работой из бутылки и бесцельного сидения в доме, в этом было больше пользы, чем семейного тепла. Марина уехала на праздники к себе домой и звала её с собой, убеждала, почти уговаривала, говорила, что нельзя сидеть одной в новогоднюю ночь, что в деревне будет шумно, тепло, по-человечески, что Алла бы тоже не хотела, чтобы она запиралась в доме со своими мыслями. Ксения отказалась сразу. Не потому что не ценила приглашение. Просто не хотела ничего. Вообще. Ни людей, ни разговоров, ни ёлки, ни телевизора с одинаковыми лицами и одинаковым смехом. Ей казалось, что если она проведёт эту ночь в тишине, то хотя бы не придётся врать миру, будто она участвует в общем празднике.

Сергей за последние недели стал появляться в её жизни слишком часто, чтобы это можно было списывать только на случайную помощь. Он приезжал, когда было надо что-то вынести, прикрутить, отвезти, достать, поговорить. Иногда просто звонил без дела, спрашивал, жива ли она, ела ли, что делает. Иногда привозил что-нибудь к чаю или сигареты, если видел, что у неё заканчиваются. Иногда сидел в доме молча, пока она разбирала вещи или мыла чашки, и это молчание почему-то не раздражало. В нём было меньше лезущей в душу жалости, чем в большинстве человеческих слов. С каждым днём он становился ближе. Не как мужчина ещё — Ксения жёстко не подпускала его туда, куда самой смотреть было страшно, — а как человек, который почему-то остаётся рядом, когда другие уже давно исчезли бы. Несколько раз у неё даже мелькала мысль, такая глупая и опасная, что она сама же на себя злилась: а не послан ли

он ей свыше, именно в тот момент, когда она начала рассыпаться окончательно. За эту мысль она и цеплялась, как человек цепляется за любой тёплый предмет в ледяной воде. Не потому что верила в чудо. А потому что без этой версии всё происходящее становилось слишком бессмысленным.

Но ближе, чем друга, она его не подпускала. И не только из-за внутреннего траура. У него была Вика. Формально — невеста невестой, девушка не девушка, любовная грязь в том формате, который у людей вроде них легко заменяет отношения. И как бы смешно это ни выглядело со стороны, как бы сама Вика ни жила в режиме «муж отдельно, любовь отдельно, праздник отдельно», Ксения не позволяла себе заходить на чужую территорию. Хотя сама жизнь, как оказалось, на это ограничение плевала.

Вечером, уже когда на улице начали рваться первые петарды и соседи через дом включили музыку так громко, что басами дрожало стекло, ей позвонила Вика.

Ксения посмотрела на экран и почти не хотела брать трубку. От Вики никогда не приходило ничего хорошего или хотя бы чистого. Только просьбы, суета, чужие интриги или очередное бессмысленное веселье, после которого всегда оставался неприятный осадок.

— Да, — сказала она сухо.

— Ты дома? — голос Вики был быстрый, раздражённо-весёлый, уже подогретый алкоголем.

— А где мне быть?

— Не умничай. Слушай, приходи ко мне на Новый год.

Ксения даже не сразу поняла.

— Зачем?

— Затем, что тебе нельзя быть одной.

— Это с каких пор тебя волнует, что мне можно, а что нельзя?

— Ой, да не начинай, — отмахнулась Вика. — Я серьёзно. Приходи. Посидим, выпьем, не сдохнешь со скуки.

Ксения подошла к окну. Во дворе за забором двое мальчишек уже жгли бенгальские огни, и их лица мигали в сером воздухе золотыми вспышками.

— Нет.

— Подожди, — быстро сказала Вика. — Там нюанс.

— Я даже боюсь это слово от тебя слышать.

— Очень смешно. Короче, мне надо, чтобы ты сегодня была девушкой Серёжи.

Ксения медленно повернулась от окна.

— Чего?

— Ну ты же не тупая, всё поняла. Максим дома. Я хочу Новый год нормально отметить. И с мужем, и... ну, в общем, ты поняла. Если ты придёшь как его девушка, никто ничего не заподозрит.

От такой откровенности стало даже не мерзко — странно. Как будто Вика настолько давно жила в своей внутренней помойке, что уже не замечала ни запаха, ни грязи.

— Ты в своём уме?

— В полном. Ксюш, не выделывайся. Тебе всё равно одной сидеть нельзя. А мне реально надо. Ты придёшь, посидишь, пожрёшь, выпьешь, уйдёшь. Что сложного?

— Всё.

— Да ладно тебе. Не корчи святую. Ты же с ним и так постоянно.

Вот это задело сильнее, чем сама просьба.

— Сергей тебе кто вообще? Игрушка? — тихо спросила Ксения.

— А тебе какое дело?

И в этой фразе вдруг оказалась вся Вика целиком. Без прикрас. Без дружбы. Без стыда.

Ксения хотела бросить трубку. Правда хотела. Но именно в этот момент в доме особенно остро стало слышно, как он пуст. Как щёлкают батареи. Как хлопает где-то на улице калитка. Как от одиночества начинает звенеть в ушах. И она вдруг ясно поняла: если останется сегодня здесь одна, в этой тишине, под бой курантов, под звонки с поздравлениями, под чужой смех из телевизоров и дворов, её действительно может разорвать изнутри.

— Во сколько? — спросила она.

Вика победно выдохнула.

— Часам к девяти приходи. И оденься нормально, не как на похороны.

Ксения молча отключилась.

Сама себе она потом так и не смогла честно объяснить, почему согласилась. Может, действительно испугалась сойти с ума в одиночестве. Может, не хотела в эту ночь слышать только свой собственный траур. Может, судьба, если она вообще существует, в тот вечер толкала её к решению так грубо и нелепо, что у неё не осталось сил сопротивляться. В любом случае к девяти она уже шла по улице, кутаясь в тёмное пальто, с ощущением, что делает что-то одновременно глупое, чужое и почему-то неизбежное.

У Вики в квартире было жарко, душно и пахло всем сразу: жареным мясом, майонезом, духами, сигаретным дымом, мандаринами, шампанским и тёплой человеческой вознёй. На кухне гремела посуда, в комнате мигала гирлянда на ёлке, телевизор орал новогодним концертом, а по полу уже были разбросаны серпантин и обрывки упаковочной бумаги. Всё было как у всех, даже слишком как у всех. Именно это и давило сильнее всего — нормальность чужого праздника на фоне её собственной внутренней разрухи.

Вика открыла дверь в коротком обтягивающем платье, с ярко накрашенными губами и глазами, в которых уже плавала алкогольная раздражительность.

— Ну наконец-то. Проходи.

— Уже жалею, — спокойно сказала Ксения, снимая пальто.

— Не начинай хотя бы сегодня.

В комнате Сергей сразу поднял на неё взгляд. На секунду в его лице мелькнуло что-то вроде удивления, потом — быстрое понимание, потом привычная кривая усмешка, за которой он обычно прятал всё лишнее.

— О, — сказал он. — А вот и моя любовь.

— Иди к чёрту, — тихо ответила Ксения, проходя мимо.

— Уже иду, — так же тихо отозвался он.

Максим, муж Вики, сидел во главе стола уже заметно пьяный, хотя до полуночи оставалось ещё время. Это был крепкий, массивный мужик с тем типом лица, которое даже в покое выглядит напряжённым. Красноватая кожа, тяжёлые веки, сильные плечи, движения чуть медленнее, чем у трезвого человека, но взгляд при этом цепкий. Именно такие больше всех замечают, когда делают вид, что им всё равно.

— А это кто? — спросил он, хотя явно уже знал ответ из слов Вики.

— Ксюша, — ответила Вика легко. — Девушка Серёжи.

Максим перевёл взгляд с одного на другого, задержал его чуть дольше, чем нужно.

— Серьёзно?

— А что, не похожи? — Сергей подошёл к Ксении сзади слишком близко, положил ладонь ей на талию, и она едва заметно напряглась, но не отстранилась.

— Похожи, — протянул Максим. — Просто не видел раньше.

— Ты много чего не видишь, — усмехнулась Вика, уже наливая в бокалы.

Стол был заставлен так, как будто количество еды должно было доказать миру состоятельность праздника. Оливье, селедка под шубой, мясо, колбаса, сыр, соленья, тарталетки, конфеты, фрукты, бутылки, соусы, нарезка, ещё какие-то салаты, в которых майонеза было больше, чем смысла. Ксения держалась от всего отстранённо. Почти не ела, больше курила у

приоткрытой форточки на кухне и молчала. Сергей роль её парня играл вполне убедительно, и именно это Вику раздражало сильнее всего. Она несколько раз уводила его в коридор или на кухню, думая, видимо, что никто ничего не слышит, но стены в её квартире были тонкие, а голоса — слишком злые.

— Ты охренел? — шипела она однажды так громко, что слова долетали до комнаты почти без искажений. — Что ты возле неё трёшься всё время?

— Потому что ты сама так захотела, — так же тихо, но жёстко отвечал Сергей.

— Я не это имела в виду.

— А надо было формулировать.

— Не умничай со мной.

— Тогда не начинай.

Ксения сидела за столом, делая вид, что не слышит, и от этого чувство грязи только усиливалось. Максим в это время наливал себе ещё, глядя в телевизор с тем лицом, на котором читается: слышу всё, просто пока решаю, когда именно это станет проблемой.

— Так давно вы вместе? — неожиданно спросил он у неё, когда Вика с Сергеем вернулись в комнату.

Ксения подняла глаза.

— Не очень.

— Это сколько?

— А что, допрос?

— Просто интересно, — сказал Максим и улыбнулся той тяжёлой, пьяной улыбкой, в которой уже чувствовалась будущая злость. — Или у вас всё совсем несерьёзно?

— Настолько серьёзно, насколько это касается только нас.

Сергей рядом тихо хмыкнул.

— Видал? — сказал он Максиму. — Я же говорил, характер.

— Вижу, — ответил тот и выпил.

Разговор всё время уходил в сторону. Вика нервничала, потому что между ней, мужем и любовником в одной комнате уже начинала дрожать не та опасная интрига, которая заводит, а та, которая пахнет дракой и полицией. Сергей держался внешне легко, но Ксения чувствовала по нему знакомое напряжение. Он пил много, но не терял контроль до конца — скорее становился резче, быстрее, наглее в интонациях. Максима алкоголь, наоборот, делал тяжелее, опаснее, словно его тело наливалось не весельем, а готовностью вцепиться в первого, кто неправильно посмотрит. Вика пыталась удержать всё это шутками, прикосновениями, подливанием спиртного, но у неё дрожали пальцы, и эта дрожь выдавала главное: она уже понимала, что вечер вышел из-под её контроля.

Ксения всё чаще ловила себя на мысли, что здесь она не гостя, а ширма. Живая декорация для чужого обмана. И от этого хотелось уйти ещё до курантов. Но оставаться до полуночи казалось меньшим злом, чем уходить сейчас и нарваться на новый поток упреков от Вики. Она сидела с бокалом в руке, почти не чувствуя вкуса, и всё чаще уходила взглядом в окно, где тёмный двор уже вспыхивал редкими залпами салютов.

Когда до Нового года осталось несколько минут, вся квартира резко оживилась. Вика забежала с шампанским, телевизор сделали громче, Максим встал, пошатываясь, Сергей засмеялся чему-то своему и вдруг оказался рядом с Ксенией слишком близко.

— Ну что, любимая, дожили? — сказал он с пьяной мягкостью.

— Не называй меня так.

— А мне нравится.

— Мне нет.

Он посмотрел на неё с этой своей странной смесью насмешки и чего-то ещё, более тёмного, более внимательного.

— Ты сегодня вообще живая? — спросил он чуть тише.

Ксения не успела ответить. По телевизору заиграла торжественная музыка, и все разом притихли, как миллионы людей в стране притихают перед одними и теми же курантами, будто каждый год им снова дают шанс начать всё сначала.

И именно в эту минуту у неё зазвонил телефон.

Отец.

Она поднялась сразу.

— Я выйду, — сказала тихо и ушла в соседнюю комнату.

Там было темнее, тише. Только из зала доносился бой курантов, чужие голоса, смех и звон бокалов.

— Пап.

— С Новым годом, доча.

Голос у него был усталый, трезвый, отдалённый, как будто между ними лежали не километры, а целая жизнь.

— И тебя.

— Ты где?

Она на секунду закрыла глаза.

— Не одна.

— Это хорошо.

Они поздравили друг друга как-то скомканно, грустно, без той праздничной лжи, которую люди обычно подмешивают в новогодние слова. Вова спросил, тепло ли дома, всё ли в порядке с газом, не приходил ли кто, не плакала ли бабушка. Ксения отвечала коротко. А потом, сама не заметив как, у неё дрогнул голос. И слёзы, которых она весь вечер держала внутри, вдруг пошли сами — тихо, бесконтрольно, как вода из трещины.

— Ты чего? — сразу насторожился отец.

— Ничего.

— Ксения.

— Просто... всё как-то...

Она не договорила.

— Переживём, — сказал он после паузы. — Слышишь? Переживём.

И от этого простого, надломленного слова стало ещё больнее.

Когда она отключилась, в комнате уже стоял Сергей.

Он вошёл тихо, но не настолько, чтобы она его совсем не услышала. Просто в тот момент была слишком занята тем, чтобы остановить лицо и дыхание. Он тоже уже был пьян — не в хлам, не с потерей координации, а в том опасном мягком состоянии, когда мужчина кажется себе более честным, чем обычно.

— Эй, — сказал он негромко.

Ксения быстро вытерла щёки ладонью.

— Нормально всё.

— Вижу.

Он подошёл ближе.

От него пахло шампанским, сигаретами, морозным воздухом от открытой форточки и его собственным, уже знакомым ей запахом — железо, бензин, мыло, кожа. Она хотела отойти, но не успела. Сергей обнял её.

Не резко. Не по-хозяйски. Просто притянул к себе так, будто на секунду решил, что она имеет право не держаться.

И именно это почти выбило из неё остатки самообладания.

— Не надо, — сказала она тихо, но не вырвалась.

— Надо, — так же тихо ответил он.

Он чуть отстранился, посмотрел ей в глаза, и в его взгляде больше не было той привычной кривой усмешки. Только пьяная, опасная прямота. Ксения успела почувствовать, как внутри всё сжимается — вина, страх, одиночество, голод по теплу, по чужим рукам, по хоть какому-то живому присутствию рядом. И в следующую секунду он её поцеловал.

Это не было осторожным прикосновением. Но и не было грубостью. Скорее — неизбежностью, которая слишком долго шла к этой точке и наконец дошла. Его губы были горячими, настойчивыми, чуть горькими от алкоголя. Ксению перетряхнуло сразу, с головы до ног, так, будто её тело вспомнило нечто, о чём мозг давно запретил себе думать. На секунду она ответила ему — не разумом, не решением, а тем внутренним животным импульсом, который рождается в человеке раньше морали. И в ту же секунду прямо перед глазами вспыхнула мать. Не буквально — памятью, виной, ощущением собственного падения.

Что она делает.

Как.

Какая она вообще дочь, если в такой жизни, в таком трауре, в такой ночь позволяет себе это.

Она резко дёрнулась назад.

Но было уже поздно.

В дверях стояла Вика.

Сначала у неё просто изменилось лицо — не как у обиженной женщины, а как у человека, который вдруг увидел, что декорация загорелась по-настоящему. Потом она закричала.

— Ты охренел?!

Сергей мгновенно повернулся к ней.

— Тише.

— Тише? — Вика уже срывалась на визг. — Ты у меня в доме, при муже, с ней?!

— Замолчи.

— Да пошёл ты!

Из зала, как по команде, появился Максим. Ему хватило одного взгляда. Пьяный человек иногда не понимает длинных объяснений, но сцену считывает быстрее трезвого.

— А-а, — протянул он, и в голосе его прозвучало что-то такое, от чего у Ксении по спине пошёл ледяной пот. — Вот оно что.

Вика начала что-то говорить сразу, много и бессвязно, но он уже не слушал. Схватил со стола ключи от машины и рванул к двери.

— Максим! — крикнула она.

— Стой! — Сергей бросился за ним.

Дверь хлопнула так, что дрогнула гирлянда на ёлке.

И они с Викой остались вдвоём.

Несколько секунд в квартире стояла гробовая тишина, нарушаемая только телевизором, где кто-то радостно кричал стране с Новым годом. Потом Вика медленно повернулась к Ксении. Глаза у неё были злые, размазанные, мокрые не от слёз даже — от бешенства.

— Ты довольна? — спросила она сипло.

Ксения смотрела на неё без сил.

— Я ничего не делала.

— Конечно. Он сам.

— Он сам.

Вика засмеялась коротко и мерзко.

— Да пошла ты.

Ксения в этот момент уже не хотела ни оправдываться, ни спорить. Внутри разом поднялось всё — вина, отвращение к себе, к этой квартире, к их игре, к этой новогодней ночи, к

чужому потному празднику, к собственному телу, которое на секунду так охотно отозвалось на поцелуй.

Она схватила бутылку со стола и просто отпила прямо из горла.

— Ты совсем с ума сошла? — выдохнула Вика.

Ксения не ответила.

После первого большого глотка стало горячо. После второго — легче дышать. После третьего внутри начало расплзаться то тупое, искусственное безразличие, которое не лечит, но хотя бы на время притупляет углы. Потом была ещё сигарета. Потом ещё одна. Потом ещё алкоголь, уже неважно какой. Вика металась по квартире, кому-то звонила, кричала, снова курила, ругалась, плакала, потом опять злилась. Ксения сидела на кухне и пила, одну за другой, с таким ощущением, будто ей надо утопить не себя, а весь этот вечер.

Сколько времени прошло, она потом не помнила. Час. Два. Может, меньше. Может, больше. Помнила только, что в какой-то момент телефон в её руке завибрировал и на экране высветилось имя Сергея.

— Спуститесь вниз, к магазину, — сказал он быстро. — Мы там.

— Что случилось?

— Долго объяснять. Просто выходите.

Они вышли.

Ночной воздух ударил в лицо так сильно, что Ксению качнуло. Во дворе всё ещё рвались петарды, кто-то орал песни, на детской площадке пьяные подростки жгли фейерверк прямо из бутылки. У магазина на углу мигали синие огни. Возле него стояла машина, влетевшая мордой прямо в витрину. Осколки стекла лежали на снегу, как лёд на чёрной земле. Рядом уже суетились люди, кто-то орал, кто-то курил, кто-то что-то объяснял полицейским. Максим стоял в стороне, шатаясь, с лицом человека, который ещё не решил, что больше хочет — подражаться, сбежать или заплакать.

Сергей увидел их сразу и подошёл быстрым, злым шагом.

— Этот урод угнал машину и решил, что доедет, — бросил он. — На обратке не вписался и влетел в магазин. Теперь тут разборки.

— И что теперь? — спросила Вика.

— А теперь менты, хозяин магазина и твой муж, который в хлам.

— Господи...

— Господи был против этого вечера ещё в девять, — отрезал Сергей.

Ксения посмотрела на разбитую витрину. На жёлтый свет магазина, выбивающийся на улицу. На стекло в снегу. На Максима, который что-то пытался доказывать полицейскому, едва держась на ногах. И поняла, что ещё секунду смотреть на это не может.

— Отвези меня домой, — сказала она Сергею.

Он сразу перевёл взгляд на неё.

— Точно?

— Да.

— Я не могу сейчас...

— Пожалуйста.

Он коротко выдохнул, посмотрел на Вику, на ментов, на Максима и принял решение.

— Пять минут.

— И ты меня вот так бросишь? — вскинулась Вика.

— А ты себя уже давно бросила сама, — жёстко ответил он.

Он отвёз её домой почти молча. В машине пахло морозом, алкоголем, табаком и той тягучей тишиной, которая бывает после скандала. За окном город грохотал праздником — салюты, огни, пьяные компании, смех, машины с сигналами. Всё это мелькало мимо, не задевая

её по-настоящему. Внутри у Ксении нарастало другое: давление, дрожь, ощущение, что если она сейчас останется одна, то просто рассыплется.

Дома это и случилось.

Стоило двери за ними закрыться, тишина ударила так резко, что стало больно в ушах. Дом был тёплый, батареи уже держали тепло, но от стен всё равно тянуло памятью. В комнате пахло пылью, стираным бельём и чуть-чуть — гарью, которую, казалось, невозможно вымыть никогда. Ксения сняла пальто, неаккуратно бросила его на стул и вдруг начала плакать так, как не плакала со дня похорон. Не красиво. Не тихо. А с тем телесным, почти судорожным надрывом, когда человека трясёт целиком и он уже не контролирует ни лицо, ни дыхание.

— Ксения, — Сергей сделал шаг к ней.

— Не трогай меня.

— Хорошо.

Она прошлась по комнате, потом назад, потом остановилась, обняв себя руками.

— Я ненавижу всё это, — выдохнула она. — Всё. Этот вечер, её, себя, тебя, этот дом, эту грёбаную зиму...

Слова выходили рваными, злые, мокрые от слёз.

— Я не должна была туда идти. Не должна была пить. Не должна была... — она осеклась, закрыла лицо ладонями.

Сергей подошёл всё-таки. Медленно, давая ей возможность оттолкнуться. Но она не оттолкнула.

— Ты никому ничего уже не должна этой ночью, — сказал он тихо.

— Не говори так, будто понимаешь.

— Я не понимаю. Но я здесь.

И от этих слов, простых до грубости, у неё снова задрожали губы.

Алкоголь к этому моменту уже размягчил границы. Не убрал боль — просто сделал её менее чёткой, более телесной. Хотелось не смысла, не разговора, не покаяния. Хотелось перестать быть одной хотя бы на несколько часов. Хотелось, чтобы чужие руки удержали её не как подругу, не как сироту, не как человека на грани, а просто как женщину, в которой ещё есть жизнь, несмотря ни на что.

Сергей стоял близко. Достаточно близко, чтобы она чувствовала тепло от него даже сквозь одежду. Он молчал, и это было правильно. Любые слова сейчас только испортили бы момент — сделали бы его либо жалким, либо фальшивым. Ксения сама подняла на него глаза.

— Скажи что-нибудь, — прошептала она.

Он посмотрел на неё долго, почти болезненно внимательно.

— Ты красивая, когда злишься, — сказал наконец. — И страшная. И живая. Даже сейчас.

Она горько усмехнулась сквозь слёзы.

— Это плохой набор.

— Для слабых — да.

Он коснулся её щеки ладонью. Осторожно, как будто спрашивал разрешения. Кожа у него была тёплая, шершавая от холода и работы. Потом пальцы прошли к затылку, медленно, удерживая. Ксения закрыла глаза. И в ту же секунду он поцеловал её снова.

На этот раз она не отстранилась.

Поцелуй был глубже, горячее, медленнее. Уже не случайный. Не сорвавшийся. Осознанный в той степени, в какой вообще может быть осознанной близость между двумя людьми, у которых в крови алкоголь, в голове хаос, а внутри у каждого собственная темнота. Его ладони скользнули по её спине, задержались на талии, притянули ближе. Она чувствовала под пальто и платьем его силу — не демонстративную, не показную, а живую, мужскую, тяжёлую. Сергей целовал так, будто всё время до этого сдерживался и только теперь позволил себе не врать. В

шею. В губы. В висок. Медленно, жадно, с тем редким чувством меры, которое делает желание не грубее, а опаснее.

Ксения вцепилась пальцами в его плечи, чувствуя, как внутри неё поднимается жар, противоестественный для всего происходящего и потому особенно страшный. Она хотела остановиться. Правда хотела. Но с каждой секундой тело всё сильнее забирало власть у вины. Её трясло — от алкоголя, слёз, холода, страха и того голода по живому прикосновению, который она так долго в себе душила.

— Посмотри на меня, — тихо сказал Сергей.

Она открыла глаза.

Его лицо было совсем рядом. Очки он уже снял, и без них взгляд его странных, текучих глаз казался ещё мягче и опаснее одновременно.

— Если скажешь «нет» — я уйду, — произнёс он.

И именно эта фраза окончательно её сломала.

Потому что она была не про давление. А про выбор. Про тот единственный кусок контроля, которого у неё давно не было почти ни в чём.

Ксения медленно покачала головой.

И он понял.

Потом всё пошло не быстро, а как-то волнами. Пальто соскользнуло со стула на пол. Его куртка тоже. Он целовал её уже не только в губы — ниже, медленнее, оставляя на коже шеи и ключиц горячие, почти болезненные следы. Её ладони под его свитером нащупали напряжённую спину, жёсткие мышцы, тепло мужского тела. Он снял с неё платье не одним резким движением, а будто разворачивая подарок, в котором для него было не тело даже, а сама возможность касаться её так, как раньше было нельзя. Его взгляд скользнул по её груди, по талии, по бёдрам — не нагло, не похабно, а так, что от этого взгляда её прошило новой дрожью.

— Ты не представляешь, какая ты, — прошептал он.

— Не начинай красиво говорить.

— А я не красиво. Я честно.

Он опустился губами к её груди, и Ксения резко втянула воздух. От этой ласки внутри всё стянуло в один горячий узел. Он не торопился. Его ладони шли по её телу так, будто изучали его и одновременно успокаивали — по плечам, по спине, по бёдрам, задерживаясь там, где кожа особенно остро отзывалась на тепло. Она сама тянулась к нему, уже не различая, где в ней больше нужды, а где желания. Ей хотелось ближе. Теснее. Чтобы между ними не осталось воздуха, который можно было бы заполнить мыслями.

Сергей подхватил её на руки так легко, что она только вскинула голову. Перенёс к кровати. Уложил осторожно, но в этой осторожности всё равно чувствовалась сила, от которой кружилась голова. Он навис над ней, и в полумраке комнаты — только жёлтый свет из коридора, отражённый в окне, и редкие вспышки салютов с улицы — его лицо казалось одновременно знакомым и совсем новым. Уже не мальчишкой из гаража, не нелепым парнем в заляпанной куртке, а мужчиной, который знает, чего хочет, и сейчас хочет именно её.

Он снова целовал её — в живот, в внутреннюю сторону бедра, в грудь, в плечи, — заставляя тело отвечать раньше мысли. Ксения чувствовала собственное дыхание, рваное, горячее, чувствовала, как сводит пальцы на простыне, как под кожей пульсирует кровь, как всё внутри неё, ещё недавно мёртвое и заблокированное, вдруг оживает сразу слишком сильно. И именно в этом было что-то почти страшное: среди траура, среди вины, среди всего, что должно было давно похоронить в ней желание, оно вдруг вспыхнуло с такой силой, будто ждало этой минуты всё время.

Когда он вошёл в неё, это было не грубо и не нежно в привычном смысле. Это было точно. Глубоко. Так, что у неё сорвался глухой стон, почти злой от остроты ощущения. Сергей замер на секунду, давая ей привыкнуть, и в этот короткий миг его лоб коснулся её лба.

— Скажи.

— Не останавливайся, — выдохнула она.

И он не остановился.

Движения сначала были медленными, почти мучительными. Он как будто пробовал её на вкус всем телом — осторожно, но жадно, всё глубже, всё ближе, пока ритм между ними не нашёлся сам. Ксения обхватила его ногами, чувствуя под ладонями напряжённую линию спины, мышцы плеч, горячую, живую тяжесть мужчины, который не отпускал её ни на секунду. В её голове всё ещё вспыхивали обрывки вины, лица, голос отца, мысль о матери, но тело уже жило отдельно. И чем сильнее становился этот ритм, тем дальше отходила мысль. Оставались только дыхание, жар, поцелуи, его хриплый шёпот ей в шею, её собственные пальцы у него в волосах, резкие, почти болезненные волны удовольствия, которые накатывали всё сильнее.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.